

БАБУШКА, GRAND-MÈRE, GRANDMOTHER...

—•••—
Воспоминания внуков и внучек
о бабушках, знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями
XIX-XX веков



Елена Лаврентьева
Бабушка, Grand-mère, Grandmother...
Воспоминания внуков и внучек о
бабушках, знаменитых и не очень, с
винтажными фотографиями XIX-XX веков
Серия «Семейные архивы»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3373865

*Бабушка, Grand-mère, Grandmother...: Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX– XX веков / Составитель Е. В. Лаврентьева.: Этерна; Москва; 2011
ISBN 978-5-480-00132-7*

Аннотация

Героини книги – бабушки, наши ангелы-хранители. Судьба каждой из них неповторима, а истории любви достойны пера романиста. Наряду со свидетельствами мемуаристов XIX века в книге представлены воспоминания наших современников. Авторы объединяет «память сердца» и благодарность к тем, кто сумел предать внукам творческое отношение к жизни, сострадание к людям, любовь к искусству и природе.

Содержание

Предисловие	4
Часть I Чем измеряется любовь?	7
Таточка	7
«В память неизвестной героини...»	41
«Полпред» девятнадцатого века	66
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Елена Владимировна Лаврентьева Бабушка, Grand-mère, Grandmother...: Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX–XX веков

Выражаем благодарность Марии Викторовне Красновой за поддержку в издании книги

Предисловие



Я благодарна друзьям за то, что они откликнулись на мой «призыв» написать воспоминания о своих бабушках. Эта тема не оставила равнодушными, в свою очередь, их друзей и родных. Так появилась эта книга. А началось все с открытки, найденной на развалах блошиного рынка в Измайлове: «Москва. Разгуляй. Аптекарский пер., Дом Михайловой, кв. 2. Ея Высокородию Александре Александровне Михалевской.

Дорогая Бабушка! Скоро опять, бабушка, мы с тобой увидимся. Вот ты не поверишь, а спроси Маму, все мы по тебе сильно скучаем. Очень рад, что ты сшила себе бархатное

платье; теперь очередь за шелковым. Таким образом, когда мы с тобой будем сидеть в первом ряду партера, на нас обратит внимание весь театр...»

В то время я собирала старые фотографии с трогательными надписями на обороте и почтовые открытки (конца XIX – начала XX века) с примечательными текстами. Переписка бабушек и внуков занимает почетное место в моей коллекции. «Дорогой мой гимназистик Петушок, поздравляю тебя с праздником! Хотя ты и гимназист, но, наверное, с таким же нетерпением, как и прежде, ждешь праздников и интересуешься, что тебе подарят. Впрочем, для тебя, сильно занятого человека, праздник – особенно приятное событие. Гуляй вовсю и поменьше сиди за книгами, чтобы отдохнуть. Крепко-крепко целую, твоя бабушка». Родители «гимназистика» вряд ли одобрили совет бабушки, но Петушок, несомненно, был ей признателен за понимание и дружескую поддержку. А вот еще одно письмо:

«Воронеж. Малая Дворянская, д. 18. Евгении Георгиевне Ритгер. Москва. 10.10.1916.

Милая Женечка! Целую и поздравляю с днем рождения. Ты теперь совсем взрослая барышня, в мое время в 16 лет надевали первое длинное платье, и с непривычки приходилось в нем путаться. Теперешняя мода, если ее не преувеличивать, гораздо удобнее. Желаю тебе всего, всего хорошего, будь здорова и не забывай любящую тебя бабушку Ритгер». Барышне явно повезло с бабушкой: не ругает «нынешнюю молодежь», не осуждает «теперешнюю моду». Одним словом, «современная» бабушка!

Вслед за собиранием писем и фотографий появилось новое увлечение – «Бабушки на страницах мемуаров XIX века». Моя многолетняя работа с мемуарными источниками помогла составить яркий «букет»: тут и придворные дамы, и хлебосольные хозяйки, и «суетверки», и сумасбродки, и светские львицы, и «поясирательницы мужских сердец», и художницы, и музыкантши, и чудесные рассказчицы... Так или иначе воспоминания о бабушке у каждого мемуариста были связаны с «самыми дорогими впечатлениями детства».

На долю бабушек моих друзей выпали тяжелые испытания. Но, несмотря ни на что, они смогли передать своим внукам любовь к природе, музыке, литературе, творческое отношение к жизни, сострадание к людям, ощущение неповторимости мгновения... Гениальный Параджанов в миниатюре, посвященной Федерико Феллини, писал: «Думаю, что Феллини целиком и полностью вышел из детства... Как ни абсурдно, режиссер рождается в детстве. Я знаю, что детство – это бесценный склад сокровищ...»

Сокровищами своего детства делятся с читателями авторы этой книги. Среди них: художники, деятели науки, литераторы, музыканты, профессор медицины, доктор геологических наук. Некоторые успешно совмещают несколько профессий: физик и коллекционер, пианистка и архивист, художник и литератор. Но все они – благодарные внуки, которые бережно хранят семейные реликвии. Пожелтевшие листки писем, дневники с потускневшими от времени чернилами, фотографии в старых громоздких альбомах, со страниц которых смотрят на нас робкие гимназистки в белых фартуках, тоненькие барышни в длинных платьях, эффектные дамы в причудливых шляпах... Одни станут женами знаменитых мужей, другие сами обретут известность, третьи будут жить семейными заботами вдали от столичной суеты. Судьба каждой героини – неповторима, а истории их любви достойны пера романиста¹. Наши бабушки – наши ангелы-хранители!

Красавица Осень совета не спросит,
Разлюбит кого – обязательно бросит.
И будут дожди блеснуть на ресницах,
И таять улыбки на пасмурных лицах.

¹ В публикуемых материалах в основном сохранены орфография и синтаксические особенности источников.

Заглянет Зима и надолго останется.
И снежною дымкою небо затянется,
И будет царить снеговая порука,
И снежная баба отряхивать внука.

Ворвется Весна черноглазой цыганкой,
С кострами и песнями, пляской и пьянкой.
И будет кружиться у всех голова,
И шелковой шалью стелиться трава.

В соломенном кресле раскинется Лето,
Рукой заслонившись от яркого света.
И будет жужжать над вареньем оса,
И падать слезой на ладошку роса.

Потом снова Осень, и снова Зима,
И те же деревья, и те же дома.
И бабушкин зонтик от солнца на даче,
И в детство тропинка... А как же иначе?!

Елена Лаврентьева

Часть I Чем измеряется любовь?

Таточка О. Ю. Семенова

Вы – великая женщина. Сделанное Вами – неоценимо. Сейчас люди обречены на загадочное одиночество, создать и сохранять семью куда труднее. Вы это сумели. И о возрасте своем забудьте! У вас на лице – годы красивой и деятельной жизни.

Из письма Риммы, Казаковой к Н.Кончаловской. 1968

© О. Ю. Семенова, 2008

Когда я вспоминаю Таточку (так называли Наталью Петровну Кончаловскую все мы, многочисленные ее внуки, ибо тривиальное «бабушка» было неприемлемо), то всегда сначала вижу ее руки – небольшие, удивительно красивые, «умные руки», как она сама говорила. А потом возникает милое, в морщинках лицо, с раннего утра изящно уложенные голубоватой волной седые волосы и чуть прищуренные, все видящие и все понимающие глаза. Это была удивительная, неповторимая женщина. Я говорю это не потому, что она была моей бабушкой. Есть женщины творческие, есть примерные матери, есть мудрые жены, есть хорошие хозяйки, но чтобы все это совмещалось в одной женщине, такого я не видела ни до Таточки, ни после нее.

Таточка вставала часов в шесть-семь утра. День начинался с молитвы. В углу ее спальни на даче на Николиной Горе, купленной еще в 1949 году, всю ночь теплилась лампадка. Когда мой папа бывал в командировках, я проводила субботу и воскресенье не на нашей даче на Пахре, а у Таточки. Спала в ее комнате на раскладушке, возле русской © О. Ю. Семенова, 2008 печки, расписанной молодой художницей смешными жанровыми сценками. По утрам просыпалась от еле слышного Татиного шепота: она стояла на коленях перед киотом и тихо молилась. Я переворачивалась на другой бок и, свернувшись калачиком, снова засыпала. Поставив в духовку хлеб, который она с вечера замесила, и позавтракав (завтрак состоял из половинки грейпфрута, чашки кофе и двух кусочков подсушенного хлеба с тончайшими, просвечивающими на солнце ломтиками сыра), Таточка садилась писать. К девяти часам, решив, что хватит мне валяться, она срывала покрывала с клеток с радостно попискивающими канарейками, раздвигала плотные полосатые шторы, ставила пластинку с концертом Рахманинова, и весь небольшой уютный ее дом наполнялся пением птиц и музыкой.

До полудня Таточка продолжала писать за столиком из карельской березы с двумя черными лирами по бокам, потом ставила на плиту гречку, готовила на французский манер салат: это было священнодействием, которому она учила, по мере взросления, всех внучек. Салат срывался с грядки, мылся, сушился в заморской сушилке, вращавшейся со страшным грохотом и рычанием, потом резался вместе с помидорами, поливался оливковым маслом и посыпался сверху сухариками, натертыми чесноком. После обеда шила очередное платье Аннушке или мне. Потом выхаживала обязательные два километра по дорожкам сада. Затем вязала носки Егору, или шарф Степану, или джемпер маленькому Темочке. Вечером, если был сезон, мастерски варила варенье, читала. А на ночь рассказывала мне про гимназию, путешествия в Италию, про деда Василия Ивановича Сурикова – много было сокровищ в ее кладовой памяти... Таточка вошла в мою жизнь рано. Я этого не помню, да и помнить не могу: мне было полтора года, но мама с удовольствием об этом вспоминает. Стояло теп-

лое лето 1968-го. Таточка, как всегда элегантная и подтянутая, в одном из безукоризненно сшитых в ателье Литфонда строгих костюмов, которые она неизменно «оживляла» украшениями, купленными по случаю или изготовленными по ее рисункам на заказ у знакомого московского ювелира, выехала из дома пораньше. Степенный дородный водитель, немец Николай Осипович Штеллинг, не спеша, подрулил на «волге» двадцатой модели к церкви в Перхушково. Таточка, несмотря на свои шестьдесят пять лет, легко вылезла из машины, накинула на голову кружевной платочек и бодро направилась к храму – крестить меня, свою вторую внучку.

Крестины незаладились. Я омерзительно громко кричала и извивалась, неохотно расставаясь с уже завладевшими, по твердому убеждению батюшки, моей душой бесами. Крестный отец, младший брат Натальи Петровны, Михаил Петрович Кончаловский от этих пронзительных воплей и волнения забыл молитву, которую должен был произнести. Пожилой священник Радковский (то ли близкий друг, то ли дальний родственник Татиного мужа, Сергея Владимировича Михалкова) совсем некстати на него рассердился, недовольно бурча: «Что же вы за христианин, любезный, если молитвы забываете?!» Мама испуганно смотрела на это несколько карикатурное священнодействие из дальнего угла храма, в волнении прижимая длинные пальцы к щекам. И только Наталья Петровна оставалась доброжелательно – спокойной. Состояние покоя, вежливой заинтересованности и тихой доброжелательности, коротко и очень точно называемое французами «*à me égale*» и характеризующее, по их мнению, истинных дам, было выработано ею еще в молодости...

Не могу объяснить почему, но лет до шести я Таточку панически боялась и даже обращалась на «вы», что не мешало мне (да здравствует иррациональность младенческого мышления, допускающего гармоничное соседство страха и любви к старшему!) ее тихо обожать. Тогда еще она проводила всю зиму в своей московской квартире на улице Воровского, и мама, заходя ее навестить, брала меня с собой. Там пахло черным кофе, апельсинами, горькими французскими духами и, чуть-чуть, лавровым листом с кухни, где бессменная домработница Поля готовила что-то вкусное. В просторном холле над роялем висела картина Петра Петровича Кончаловского «Сирень». В столовой – полотно В. И. Сурикова – портрет красавицы: пышная, румяная, с гривой роскошных темных волос, она неизменно печально смотрела на входящих. Всем появлявшимся в доме внукам родители таинственно тихо, будто семейную тайну, рассказывали, что портрет красавицы был написан Суриковым ровно за год до ее неожиданной смерти от чахотки. Теперь картина находится в Русском музее в Петербурге, и (вот ведь въедливые детские стереотипы!), торжественно подведя к ней недавно моих детей, я поймала себя на том, что рассказываю старую историю с тем же загадочным видом, что и моя мама тридцать с лишним лет назад, на улице Воровского.

Таточка обычно сидела в холле за овальным столиком красного дерева и что-то вязала. Волосы ее, тогда еще каштановые, были красиво уложены в пучок, домашнее, но очень элегантное темно-синее платье в белый горошек свободно облегло фигуру, на пальце тускло поблескивало старинное кольцо с огромной жемчужиной. (Позднее эта жемчужина за один день почернела, и моя мама, суеверно боявшаяся приворотов, наговоров, сглазов и прочей колдовской дребедени, убежденно заявила, что камень принял на себя особо сильный сглаз, направленный на Таточку злостными завистницами.) Оторвавшись от вязания, она несколько секунд пристально смотрела на меня поверх очков чуть прищуренными карими глазами. У меня душа уходила в пятки: казалось, что Таточка видит меня насквозь и знает про все мои последние капризы и шалости. Я робко к ней подходила, целовала в прохладную щеку (горьковатый запах духов и почему-то сухих розовых лепестков становился явственнее, почти осязаемым) и испуганно шепелявила: «Тата, Вы мне... Ты мне... разрешите посмотреть камушки?» – «Конечно, Ольгушка, иди, смотри», – ласково говорила Тата, и я поспешно смывалась. «Камушки» – чудесная коллекция уральских и бразильских минера-

лов Сергея Владимировича хранилась в его кабинете, и я могла рассматривать ее часами. Из холла доносились тихие голоса Таточки и мамы. «Вот видишь, Катенька, ведь меня же она слушается. И совсем не капризничает. Почему же тебе не удастся с ней совладать?» – «Да, мамочка, конечно, но ты понимаешь...» Дальше оправдывающийся мамин голос переходил на шепот, и больше ничего из разговоров на «педагогических» заседаниях я уловить не могла... Поблескивали на полках аметисты и топазы (необработанный снаружи камень удивительно контрастировал с драгоценно-переливающимся игольчатым нутром), тихонько позвякивала на кухне кастрюлями Поля, в высокие окна заглядывал короткий зимний день. Над крышами домов поднимался из труб серый дымок и смешивался с розоватым закатным морозным маревом. В полукруглой, эркером, столовой поскрипывал паркет и белели французские прозрачные занавески в белую мушку. По-летнему заливались в клетках канарейки. «Приводи Ольгушку в следующий раз, мы их с Егорушкой запишем», – заканчивает Таточка разговор с мамой, и мы уходим.

Тата решила записать на диктофон «художественное» чтение внуков. Егор блестяще справляется с заданием, а я, неделю старательно зубрившая «Вырастет из сына евин...», услышав змеиное шипение диктофона, сбиваюсь. Мама гневно сверкает глазами и досадливо кусает губы. Таточка добро щурится. У меня нестерпимо горят уши и щеки. Хочется стать маленькой-маленькой, крошечной, провалиться в щель в паркете и исчезнуть. Какой ужас, я опозорилась перед Татой!

Все внуки и внучки очень дорожили мнением Таточки. Она была той самой «mater familia», тем центром гравитации нашей семейной «галактики», тем светилом, вокруг которого в раз и навсегда заведенном порядке вращались планеты, спутниками и астероидами дети, невестки, внуки, друзья. Она примиряла, организовывала, упорядочивала всю эту шумливую толпу одним фактом своего тихого присутствия, и каждый находил подле нее то, что искал. Кто – успокоение, кто – радость, кто – вдохновение. Она не требовала ни уважения, ни любви, но все без исключения относились к ней с любовью и уважением. Ей хотели нравиться, ее похвалы добивались, к общению с ней стремились. Она исподволь изучала очередного «новенького» внука или внучку, быстро понимала, что кому интересно и близко, и старалась дать самое для него важное и нужное. Была у нее маленькая невинная хитрость, позволявшая каждому из нас почувствовать себя уникальным, неповторимым, самым дорогим и замечательным. Каждому из нас она в какой-то момент по секрету обязательно говорила, что он-то (она-то) и есть ее самый любимый внук (или внучка).

Когда девятилетняя дочка Никиты Сергеевича Аннушка небрежно, но с тайным ликованием пробросила в разговоре, что она у Таты самая любимая, я, шестнадцатилетняя, разобиделась, но со временем поняла, что только так и можно было примирить всю «мелюзгу», не возбудив в наших горделиво-требовательных юных душах разрушительную ревность. Каждый верил в свои, особые отношения с Татой, да так оно в конечном итоге и было. Как увлеченно она беседовала со всеми нами, радуясь пустяжным диалогам и неизменно их записывая.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«Гуляем Оля, Егор и я [Наталья Петровна. – О. С.]

– Тата, а ты могла бы ехать на велосипеде? – спрашивает восьмилетний Егор.

– Могла бы, на трехколесном, – отвечаю.

– Да еще двадцать лет бы сбросить, – добавляет семилетняя Ольга.

– Олечка, а если мне двадцать лет прибавить, то сколько сейчас мне будет?

– 91, – отвечает Ольга мгновенно и добавляет: – Можно до 107 лет дожить!

– Каким образом? – спрашиваю я.

– Очень просто: никогда, никогда не смотреть телевизор! – отвечает Ольга.

Егор спрашивает Ольгу:

– Хочешь, я тебя бузиной накормлю?

– С удовольствием, только как-нибудь в следующий раз!»

Во время одной из прогулок Таточка спасла Егора от увечья, а может, и от смерти. На них на большой скорости налетел какой-то бестолковый велосипедист, и Таточка в последнее мгновение прикрыла собой маленького Егора. После того случая у нее так сильно болела спина, что пришлось делать операцию на позвоночнике. Хирургия особо не помогла, и до последних дней Таточка страдала, никогда вслух не жалуясь. Она умела радоваться, находила хорошее в самых незначительных мелочах. Распустившийся розовый бутон на клумбах под окном спальни, собранный утром росистый букетик фиалок, растущих тут же, под розами, особо удачная трель канарейки, поспевшая на грядках клубника – и глаза у Таты начинали весело блестеть, а голос молодо звенел. Радость жизни она унаследовала от своих родителей – Петра Петровича Кончаловского и Ольги Васильевны, урожденной Суриковой. У Таты с раннего детства сложились удивительные отношения с отцом. Она уважала его, пожалуй, даже боготворила и одновременно нежно любила. Папа был лучшим другом, строгим учителем, недостижимым божеством, милостиво спустившимся к ней и маленькому брату с творческого Олимпа. Папа – последняя инстанция, непререкаемый судья, всегда самый добрый и мудрый. Отношения эти возникли в раннем детстве, когда Петр Петрович неотлучно просидел несколько недель подле заболевшей дочери.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«В 1909 году мы жили всей семьей вчетвером в Абрамцево. Там возле большого дома Аксаковского есть такой флигель.

Вот в нем мы и жили. А в большом доме жили Самарины: Лиза, Юша и Сереженька. Были они после смерти Веры Саввишны на попечении ее сестры Александры Саввишны Мамонтовой. Лиза была чудесная девочка, удивительно умная и хорошая. Сереженьке было пять лет. Он был веселый. Все лето мы проводили вместе. В сентябре я и Сережа заболели скарлатиной. Я болела во флигеле, а Сереженька в Москве. Мишу мама увезла в Москву, а я с папой осталась в Абрамцево. И вот я помню очень отчетливо вечера в Абрамцево с керосиновой лампой, рядом с папой. Уже была поздняя осень, когда я начала вставать и ходить по комнате. Помню, мама с Мишей уезжали из Абрамцево в Москву. Я смотрела на нее в длинное узкое окошко. Миша стоял под окном в желтом драповом пальтишке с золотыми пуговицами, в шапочке и желтых кожаных гетрах. Рядом стояла мама, оба мне кивали и улыбались. В дом им войти было нельзя, карантин. И вот все шесть недель моей болезни папа возился со мной, как нянька. Читал мне, кормил меня, лечил. Я помню папино лицо, склонившееся надо мной. Русая борода, усы, серые глаза выразительные, лицо бледное (у папы никогда не было румянца), волосы копной, чудная улыбка была у папы – лучистая. Вскоре я поправилась, и папа отвез меня в Москву на поезде. А Сереженька умер, и его схоронили в Абрамцево, рядом с матерью Верой Саввишной, той самой “девочкой с персиками”, которую писал Серов».

В 1914 году Петр Петрович ушел на фронт, и в течение трех лет семья жила тревожным ожиданием. Что за письма отправляла Тата, двенадцатилетняя, Петру Петровичу!

«Дорогой папочка, я без тебя так скучаю. Ради Бога, попросись на отпуск. Ах, как бы я была рада, если бы вдруг звонок. Телеграмма: “Приезжаю такого-то числа”. Я просто не знаю, что бы сделала, если бы ты тут был. Я жду телеграммы с каждым звонком. Время идет

так быстро. Прямо летит. Уже не успеваешь оглянуться, как осень, а то весна, а то вдруг зима. Одним словом, очень быстро. Целую. Твоя Наташа». (1915 г.)

«Милый папочка! Я тебя ужасно люблю!!!!!!

Я сделала невероятные успехи по роялю. Сижу, играю до одеревенения пальцев. Результаты получаются утешительные. Да! Помнишь, папочка, Баха мы с тобой учили. Я его уже давно знаю наизусть и пьеску тоже “Jeu de cercle”. Я, папочка, очень боюсь, что ты рассердишься на меня. Я взяла без спросу твоих красок, но не из тюбиков, а со старой палитры, которая валяется на шкапу. Эти краски все пересохли, и лишь только если их расковырять, то в середине едва ли найдется теперь немного мягкой краски, а мне очень нужно было, потому что мы устраиваем выставку “Мир творчества”, на которой будут выставлять и другие дети. Напиши, папочка, сердись ли ты или нет??? А то мне очень неприятно, может быть, они тебе нужны???????

Я страшно хочу тебя видеть и очень соскучилась. Мы уже придумали план для Нового года. Если ты будешь тут, тогда вы с мамочкой, наверное, куда-нибудь уедете. А мы втроем: Грунька, Мишутка и я – наденем лучшие платья, купим вина, квасу и закусок и будем одни встречать Новый год. И потом я буду играть какую-нибудь веселенькую штучку, а они будут пьяные плясать. Вот весело-то будет!!!!!! (1916 г.)

«Христос Воскресе!

Дорогой папочка, я стала умной и стала больше понимать и нередко разговариваю с мамой. Сегодня я, например, узнала, для чего человек живет! Что значит материальная и духовная культура жизни души! Это мне показалось очень интересным. И пока думаю много об этом и развиваю мысли. Я начала играть новую пьесу “Chante d’amour”. Это очень хорошенькая вещица!

В этом году мы исповедовались и причащались. Батюшка, что меня исповедывал, велел каждый день читать по

5 строк Евангелия.

Целую тебя крепко. *Наташа*»

(30.03. 1917 г.).

В тринадцать лет Тата сочинила свои первые стихи – героические, про войну, и послала с письмом к «папочке» на фронт. В них, как ни странно, уже угадывался замечательный стиль написанной тридцать с лишним лет спустя книги в стихах «Наша древняя столица». С младенчества она росла среди подрамников, натянутых холстов, запаха красок на палитре, новых папиных картин, перво-наперво выставляемых им на суд Ольги Васильевны, разговоров о живописи его коллег-художников. Творчество незаметно, исподволь входило в мысли, в сознание, в душу. Жизнь вне творчества казалась лишенной смысла, жалкой, убогой. Мысли путались, будущее виделось как в магическом кристалле – мутно, туманно, калейдоскопом крутились в головенке романтические девчоночьи мечтания, но главное: литературный талант – пусть в зародыше, пусть дремлющий до поры до времени – уже был. А еще была легкость, чисто французская, капельку (именно насколько позволяет хороший тон) легкомысленная. Подарок французской бабушки Елизаветы Августовны де Шарэ своей дочери Ольге Васильевне, в целостности и сохранности переданный ею в свою очередь Тате. Как же легки были эти женщины на подъем!



Наташа и Миша Кончаловские с В. И. Суриковым, 1910 (1911)

«А не поехать ли нам поучиться у мастеров в Париж (пункт назначения регулярно менялся: Рим, Сиену, Испанию, Капри)?» – раздумчиво спрашивал

Петр Петрович Ольгу Васильевну за утренним кофе, поглядывая в окно на заснеженную Москву.

«Конечно, Петечка, – весело отвечала Ольга Васильевна. – Сейчас соберусь».

И вечером того же дня вся семья – родители с небольшим чемоданчиком и саквояжем, Наташа в пелеринке, маленький Мишечка в теплом пальтишке и картузике – садилась в поезд, отправляющийся в Париж или еще дальше: в солнечно-апельсиновую Италию или замерзшую под зноем Испанию.

В Париже Ольгу Васильевну принимали за француженку. Говорила она без акцента. Таточка тоже с молодых ногтей свободно болтала по-французски. В Париже провела она с родителями весь 1908 год, часть 1910-го (вместе с дедом Василием Ивановичем). Тюильри и Люксембургский сад, набережные Сены с букинистами и средневековые улочки Марэ, маленькие прокуренные бистро с гомонящими у длинных стоек посетителями и прохладное безмолвие музейных залов в рабочие дни – все это было Таточке до боли знакомо и дорого с детства. До старости она навевалась в Париж по литературным делам, а иногда и просто так, останавливаясь в квартире у своей закадычной подруги Жюльетты Фортрем. Французская легкость и наш советский режим – понятия взаимоисключающие. Особенно ощутимо это стало после 1964 года, когда началось сначала осторожное, а потом все более явное «закручивание гаек». Тату оно не коснулось. «В Париж? Ну что же, Наталья Петровна, езжайте. Правила знаете: биография, анкеты в трех экземплярах, характеристика из Союза писателей, данные о приглашающей стороне, фотографии. Заполняйте документы. Все сделаем». Дело было не столько в положении Сергея Владимировича, сколько в «скромном» подарке, своевременно преподнесенном Таточкой государству. Была у нее пара бриллиантовых серег по четыре карата каждая. Неспешно открыв коробочку с драгоценностями,

достала она как-то эти загадочно поблескивающие серьги, прищурившись, повертела на свету, любуясь игрой изумительной чистоты камней, а потом, решительно положив в небольшой футляр, отвезла в Комитет защиты мира. Деятельность этой организации была направлена на «сохранение мира во всем мире», но злые языки утверждали, что ювелирные дары, получаемые от «сознательных» представителей творческой интеллигенции, прямым ходом переключивались в сейфы партийных жен. Впрочем, это уже детали, а суть в том, что после описанных событий Таточка, не докучая мужу просьбами о помощи, могла сама в любой момент и в кратчайшие сроки оформить документы и ехать в любимый Париж с поистине французской легкостью!

Об удивительной молодости моей бабушки я узнавала из разных источников: ее собственные воспоминания вечером на Николке, книги, письма, мамины рассказы. Все это постепенно складывалось в красочную, полную неожиданностей живую картину, где комичное незримо, но крепко переплеталось с трагичным, а наворачившиеся на глаза слезы внезапно сменялись веселым смехом.

Уже шел 1926 год, а двадцатитрехлетняя Таточка все еще не включилась в бурную послереволюционную жизнь. Главными ее занятиями в то время были: чтение по-французски Гюго и Альфонса Додэ, путешествия по Италии и Франции с родителями, ведение хозяйства с мамой Ольгой Васильевной и игра в четыре руки на рояле третьей симфонии Моцарта с подружкой детства Лизой Самариной (дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего синода и внучкой Мамонтова). Умненькая, веселая, пикантная, Таточка пользовалась заслуженным успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем. Юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Выйду замуж и рожу пятерых детей!» Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость, сорокалетний красавец Алексей Алексеевич Богданов, мой будущий дед. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем (род пошел с бабки – крепостной, получившей волю и начавшей дело с лотка), и строгой чопорной эстонской немки Марии Романовны Фельдман, пришедшей в дом вдовца с детьми гувернанткой и сумевшей стать хозяйкой. Разницы между двумя старшими сыновьями и детьми, родившимися в браке с Марией Романовной – Лешей и Леночкой, – не делали. Все дети получили блестящее образование. Алексей Алексеевич учился в Англии. С фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрит по-кошачьи удлинненными глазами настоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. «Неужели это мой дед?» – застыл на губах безмолвный вопрос в раннем детстве. С годами я с очевидностью освоилась. Франтоватый «дореволюционный» красавец, которого я никогда не видела, да и мама помнила смутно, медленно входил в мою жизнь. Делали свое дело пожелтевшие фотографии, а главное – встречи с уцелевшей в сталинской «мясорубке» его младшей сестрой, маминой тетушкой Леной. Маленькая сухонькая старушка, напоминавшая добрых волшебниц из андерсеновских сказок, встречала меня ласково. Порой эти визиты носили не только родственный характер. Тетя Лена была феноменальным зубным врачом. В ее чистом кабинетике, выгороженном в квартире, стояла старая-престарая, с ножным приводом(!) бормашинка, с которой она ни за что не хотела расставаться. Тата подарила ей на день рождения новую, сверхсовременную бормашину, но чудо техники хранилось под чехлом, а работать тетя Лена продолжала на допотопной. На ней и «чинила» мои хилые молочные зубы, уже к шести годам погубленные конфетами. Ощущение было поразительное: никакой боли! В беззлбное жужжание бормашинки вплетался тихий дребезжащий голос тети Лены, и за их журчащими разговорами с мамой я, дошкольница, и не замечала, как очередной зуб был просверлен и запломбирован. «Оленька, ты должна чистить зубки каждый день, утром и вечером», – с немецкой педантичностью наставляла меня на пороге тетя Лена, – обещаешь?»

– «Постараюсь, – шепелявила я. – Каждый день, может, и не получится, тетя Лена, а через день чистить буду обязательно». Мама смущенно смеялась, тетя Лена укоризненно качала головой, скрывая улыбку. Мне было покойно и весело, как бывает, когда рядом с тобой добрые родные люди. А вскоре тети Лены не стало. Она оставила маме небольшую аккуратную рукопись, в которой рассказывалось о детстве и юности деда. Остальное я узнала от Таты.

Старший сводный брат деда Петр Алексеевич, женившись на смуглой стремительной еврейке-подпольщице Асе, ринулся в революцию и работал с Лениным в Совнархозе, а по-эстонски спокойный, медлительный Алексей Алексеевич вначале держался от политики в стороне. Вернувшись в Москву, блестяще окончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно (шел на золотую медаль, но, как джентльмен, от нее отказался в пользу учившейся с ним невесты), женился, пошел по стопам отца – в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга, государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать. Гремел фокстротами и стрелял шампанским НЭП, чуть пополневший, но неизменно красивый, Богданов педантично просматривал счета и бумаги – голубые глаза довольно поблескивали: дела предприятия шли отлично. И жена, может, излишне эмансипированная, но образованная и светская дама, хорошела. Только вот детей Бог не дал, но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке через Владивосток, через Японию в Америку для закупки китобойных судов.

Знакомство с Татой, произошедшее за несколько месяцев до отъезда, полностью изменило его жизнь. Начались тайные встречи. Потом наступило лето. Богданов уехал с родными на дачу. Аккуратно писал Тате письма. Жена, с которой прожил одиннадцать лет, становилась чужим человеком. Жалость к ней слабо боролась с желанием объясниться. Дни проходили в молчаливых раздумьях: «Как сказать?» Каждый вечер, так ни на что и не решившись, чувствовал себя бесконечно усталым. Выводил карандашом на тетрадном листочке: «Дорогая Наташа, вечер. Иду спать на сеновал».

Осенним днем 1927 года молодая женщина в густой вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва – Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Конечно, это была Таточка! Так и не решившись поговорить с женой, Богданов предложил Тате бегство. Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. На огромный корабль «Президент Кливленд», отплывавший из Владивостока в Америку, Наталья Петровна поднялась законной женой.

Ах, что это было за путешествие! Плыли первым классом. В великолепном большом холле играл джазовый оркестр, в кадках стояли зеленые деревья, ноги тонули в мягких коврах, на теннисных кортах азартно размахивали ракетками спортивные американцы, парикмахеры и массажисты в накрахмаленных халатах поджидали клиентов в салонах красоты.

Первые три дня Таточка страдала от качки, но потом, проглотив три таблетки всесильного американского аспирина, абсолютно поправилась и в сочельник уже лихо отплясывала на балу фокстроты с мужем и помощником капитана, с которым они сидели за одним столиком.

Каждый день, закутавшись в длинное пальто с меховым воротником, гуляла она по верхней палубе. Поеживаясь от порывов холодного ветра, боязливо любовалась на гигантские, с трехэтажный дом, волны. Не оставляло ощущение нереальности происходящего. Она – замужняя дама, плывет в Америку, так бесконечно далеко от Москвы, от родителей, от брата?!

Америка встретила Тату небоскребами, смогом, суетой и выхлопными газами. Америка жила сверхскоростной жизнью, зарабатывая деньги, отплясывая фокстроты, выдумывая Микки-Мауса и планируя первую церемонию вручения «Оскаров». Уже были казнены

Сакко и Ванцетти, готовился к президентской предвыборной кампании Герберт Гувер, восьмой год процветал сухой закон. Врачи еженедельно регистрировали сотни случаев паралича после употребления недоброкачественного подпольного спиртного. Неподкупный Эллиот Несс охотился со своими агентами за Аль-Капоне. Могущественный гангстер обдумывал, как отделаться от навязчивого стража порядка и враждебных группировок. Близились пулеметная перестрелка в Чикаго, когда он разом перестреляет семерых мешающих «коллег». Неотвратимо надвигался черный четверг. Эрнест Хемингуэй сел за роман «Прощай оружие!».

Тате предстояло провести в Штатах больше трех лет. Все эти годы она подробно, два раза в неделю, рассказывала про свое американское житье в письмах Ольге Васильевне. Начала с описания небольшой квартирки, арендованной Алексеем Алексеевичем в Сиэтле, на 135-й, Hardward North: «Сиэтл – громадный чудный город. Сейчас мы в отеле “Олимпик”, но вчера сняли квартиру очень дешево. Она состоит из одной большой комнаты – гостиной и спальни одновременно, маленькой чистой кухни, ванной с уборной вместе, комнаткой для туалета и комнаткой для белья и гардероба.



Таточка, 1926

Одна стена в гостиной вертящаяся. На ночь берешь за ручку, как будто открываешь дверь и переворачиваешь целую стенку, и выезжает складная чудная громадная постель, которая сложена кверху к потолку. Ты нажимаешь на кнопку, и она опускается и становится на четыре ножки. На день кровать убирается, стенка поворачивается, и кровать, сложенная кверху, находится в туалетной комнате. А гостиная делается общей комнатой, где стоит большой диван, два кресла, большая лампа на ножке, столик для чтения, столик для курения, на полу ковер на всю комнату, два окна, “рояль”!!!! т. е. хорошее пианино, и большое зеркало. Рядом кухня, электрическая плита с духовкой. У окна черный круглый лакированный стол и шесть черных таких же стульев. Затем чудная-чудная белая ванна, тоже электрическая, нажмешь кнопку – и вода в кранах нагревается. Чистота необычайная. Под коврами пол, как зеркало, из светлого дерева. Стоит эта квартира шестьдесят долларов в месяц...»

Тата с детства была приучена к домашней работе. Это ее очень выручило в Америке, потому что прислуга оказалась не по карману. Жалованье мужа было советским, мизерным, меньше, чем у американского каменщика, а чистоту в квартире требовалось поддерживать идеальную: хозяйка, жившая на первом этаже, регулярно устраивала инспекцию. И Тата отдраивала полы, мыла кафель в ванной и на кухне, готовила обед, гладила рубашки. Умудрялась угодить и хозяйке, и придиричивому Богданову (за педантичность Петр Петрович прозвал зятя «немцем»). Домашняя работа не мешала совершенствованию английского – два вечера в неделю Тата проводила на бесплатных курсах английского языка для иностранцев. Вскоре она полностью втянулась в американскую жизнь. Свободно говорила по-английски с молодыми американками, знала, в какой лавке, у какого зеленщика-итальянца недорого купить самые свежие овощи, щадя семейный бюджет, научилась шить себе платья по модным журнальным выкройкам. Только с пылесосом вышла накладка: не зная первые недели о его существовании, Таточка яростно выбивала ковры и подушки на балконе. Под окнами останавливались удивленные прохожие: «Poor girl, she hasn't vacuum cleaner». Много в Штатах Таточке нравилось, что-то раздражало. Фокстроты, к примеру. На фокстротах была помешана вся Америка, фокстроты слушали по радио с 8 утра и до полуночи, из всех окон раздавались только фокстроты, ни одной классической мелодии. Соседка, даже уходя из дому, оставляла радио включенным: «I like it! It's a fabulouse popular music!»

«Дорогой папочка, – писала она П. П. Кончаловскому, – если бы ты только мог себе представить, до какой степени тупы американцы в музыке и до чего у них музыка бездарна. Вкусы стоят на самом низком уровне. Чудная японская музыка, китайская, древнееврейские мелодии (я как-то слышала здесь) оставили неизгладимое впечатление. Но американцы ничего не понимают. “Absolutly”. Они смеются над китайской музыкой до истерики. Когда какая-то актриса стала петь арию Тоски, то они принялись кричать: “Heu, ho”. Пришлось скорей ей заканчивать. А после этого пошли фокстроты и свистопляска, и они бесновались от радости...»

На выставке русских художников в Нью-Йорке Таточка констатировала, что большинство американцев и в живописи смыслят немного. Сверкая глазами и радостно галдя, они, как дети, толпились возле лотков с кустарными изделиями, восхищаясь лукошками, цветастыми платками и деревянными коробками и едва замечая серьезных художников.

Она сообщала в письме О.В. Кончаловской: «Американцы сейчас увлекаются “modern art”, а произносят “мадерн арт” (Алеша ужасается). Это как раз Штрэнберг <...>, по-видимому, у него здесь много друзей. Покупают только тех, кого хвалят в газетах. Вот о Штрэнберге писали, и у него много куплено, и перед его работами масса ньюйоркцев. На папочкины вещи смотрят, потому что церкви. А уж на Осьмеркина и Фалька совсем не смотрят. Толпы стояли перед революционными картинами и перед чьим-то портретом Ленина. Живопись их абсолютно не интересует, а только сюжет. Вообще Америка так бедна в отношении искусств, так бездарна, что здесь тяжело жить. Здесь ничего не ценят, кроме долларов».

Иногда Богданова приглашали на балы и обеды в «Golf Club», в компании американских болтунов и сибаритов. Таточка, если удавалось найти молоденькую умненькую американку, веселилась. Но чаще всего ее окружали поджарые старухи с веснушчатými руками, заинтересованно спрашивали: «Есть ли у вас в России картофель?», «Носят ли русские женщины серьги?» Приходилось вежливо растолковывать правду про российскую жизнь, втайне сожалея о погубленном вечере и пропущенном в соседнем кинематографе фильме с ковбоями, дикими лошадьми и красоткой в рейтузах и револьвером за поясом: очень Таточке такие фильмы в молодости нравились. А еще ей нравилась рыбная ловля. В выходные они с Алексеем Алексеевичем уплывали часов в пять утра на большом катере в океан смотреть на восходящее солнце, наслаждаться тишиной и соленым морским воздухом, радоваться улову.

У Таты с юности была жажда узнавать. Она окрестила это желание все увидеть и понять «жадностью» и просила не путать со скупостью. В Америке в поисках новых интересных мест и уголков каждый день часа по два бродила по городу.

Из письма к П. П. Кончаловскому: «Дорогой, миленький мой папинька!

Сейчас получила твое и мамочкино письмо. Радости сколько у меня!.. Сегодня я провела чудесный день. Пошла искать чего-нибудь интересного посмотреть и напала на естественный музей. Просидела там четыре часа и не могла уйти. Там собраны коллекции всех деревьев, всех цветов, всяких водяных растений, громадные чучела животных всего мира, даже голова мамонта. Но что замечательно, это зал индейцев. Индейцы у них представлены идеально, перенесены большие вигвамы. Их изделия, ковры, одеяла, корзинки плетеные – это верх искусства и верх вкуса. Такое благородство во всем. Какие у них цвета, папочка! Я никогда не видала такой красоты, дикой какой-то. Масса их фигур стоит – каманчи, навайи. Все они коричневые, строгие, мудрые и страшно гордые и благородные, прямо аристократы. Я наслаждалась и переживала детство и Майн Рида. Ты бы с громадным интересом бродил тут. И как жалко, что сейчас оставшихся индейцев стараются окультурить, насильно гонят в школы и обращают в христианство. Но их еще много в горах, и они живут по своим извечным законам. Я сейчас полна этих впечатлений и уж, конечно, буду во сне сегодня гоняться по прериям в мокасинах и в перьях с лассо за дикими лошадьми и толочь кукурузу в деревянной ступке. Правда, это куда лучше, чем вся американская свистопляска и 40-этажные дома. Сейчас сижу у открытого окна. Подул свежий ветер, сейчас вечер и на улице темно, окна у всех раскрыты и отовсюду несутся вихрем фокстроты всех сортов и размеров. Но я очень хорошо себя чувствую, потому что живу с тобой и мамочкой и будто с вами говорю. Все вы в моем сердце сидите глубоко и крепко, и я горжусь тем, что я ваша дочь».

Тата часто навещала своего крестного – скульптора Коненкова. Вместе встречали Пасху, обсуждали новости российской эмиграции. Коненков показывал маленькие скульптурки, сделанные для «души» – изящные, талантливые, несравненно сильнее того, что ему приходилось делать на заказ. Маргарита, его молодая жена, горделиво принимала гостей в обтягивающем платье, с зелеными, по последнему слову моды, ногтями.

«Маргарита ужасна, – пишет Тата своей матери. – Мне прямо стыдно с ней ходить. Она так вертит боками, так кривляется и задирает юбку, когда садится. Страшно делается, и Крестного жаль... Боровский где-то в Германии, Рахманинов совсем переехал в Париж и продал свой дом в Нью-Йорке. Не вынес Америки. Шалапин уехал на лето. Крестный рассказывал про проделки Бурлюка, который сейчас здесь. Он, оказывается, был в Японии до Америки. Устраивал там свою выставку. Но она не пользовалась большим успехом, и он выручил мало. В разговоре с японцами они его спросили, не может ли он устроить выставку хороших художников, таких как Коровин, Архипов, Малявин и другие. Бурлюк подумал и сказал, что, конечно, можно и как раз на днях сюда придут вещи этих художников, которые он собирал еще в Москве. Сам пошел домой и в три дня накатыл всех художников и за всех подписался. (Вот мерзавец!!) Затем устроил выставку, собрал кучу денег и уехал в Америку. Сюда он приехал как турист, и ему разрешили пробыть полгода. Он катался по Америке с женой, совсем устроился, стал работать. Но, на свое несчастье, пошел регистрироваться (а о нем уж все забыли), и когда узнали, что ему было разрешено оставаться только полгода, то вызвали на “остров слез” (место, куда ссылают иностранцев, преступивших закон). Оттуда уже трудно выбраться: их там засаживают. Когда ему сказали, что он не имел права оставаться больше полугодом как турист, то он ответил: “Что вы, я разве сказал, что турист? Я ведь сказал, что я футурист! Так что это mistake”. Американцам это так понравилось, что они ему разрешили жить в Америке, и через пять лет он получит гражданство. Вот каков Бурлюк».

Сизл Тата любила: он напоминал ей Владивосток. Нью-Йорк, где приходилось бывать из-за работы Богданова, не выносила, называя худшим местом на земле. Днем ей не хватало

солнца, спрятанного небоскребами, по ночам пугали автоматные, а то и пулеметные очереди: полиция охотилась за мафиози, убежавшие и догонявшие были вооружены до зубов. Сражаясь с коза ностра, власти пошли на крайние меры – дали полицейским право открывать огонь по любой не остановившейся по их указанию машине. Тату поразила история с только севшей за руль дамой. Бедняжка не заметила стража порядка, сделавшего ей знак затормозить, и тот ее застрелил. Тате, выросшей среди людей творческих, чиновничья жизнь мужа абсолютно не нравилась. Она не только с детства сочиняла стихи, разбиралась в живописи, но и любила музыку. Петр Петрович пел ей, годовалой, русские народные песни (голос у него был чудесный, сильный). Она замирала, зачарованно слушала. Пел веселое – улыбалась, стоило слышать печальное: «Зеленая роща всю ночь прошумела..» – как из глаз безудержно текли слезы. Она не стала пианисткой, но играла замечательно и в музыке разбиралась как профессиональный музыкант. Идея пришла сама собой: «Лешенька отлично окончил консерваторию, почему бы ему всерьез не заняться музыкой? Это несравнимо интереснее, чем пароходы и консервные банки, о которых он печется все дни напролет!» Каждый вечер двадцатипятилетняя Тата внушала Алексею Алексеевичу, что его место на сцене. Богданов мало верил в себя, но очень верил жене, а главное – бесконечно ее любил. Он надеялся стать полноправным членом семьи Кончаловских, просил, чтобы в письмах теще и теще обращались к нему на «ты», мечтал, как они пригласят его присесть на огромный диван, стоявший в мастерской Петра Петровича (об этом излюбленном месте отдыха всей семьи Таточка часто ему с ностальгией рассказывала). Алексей Алексеевич любил все, что любила она. Чтобы доставить ей удовольствие, шел на любые жертвы. Каждый день, придя с работы, немолодой, уставший человек облачался в сшитый Татой шелковый халат и старательно вспоминал забытые за пятнадцать лет произведения Листа, Бетховена и Шопена. Соседи снизу злобно стучали шваброй в потолок. Ни он, ни зачарованно слушавшая его Таточка не обращали на это никакого внимания.

«Я тебе сейчас пишу, а Алешечка играет этюды Шопена, – сообщает она О. В. Кончаловской. – Разучивает медленно, как ученик. Звук у него просто удивительный, полный и мягкий. Алеша только и мечтает, как будет папочке и тебе играть. И сейчас страшно старается. Я должна тебе сказать, что техника у него сохранилась и ему ничего не стоит ее восстановить. Он у меня стал страшно требовательный с тех пор, как начал заниматься. Требуется, чтобы я ему руки холила и мазала. Требуется, чтобы я ему голову мыла, капризничает, как ребенок. Я с радостью вожусь с ним, ведь никто никогда с ним не возился, как с пианистами возятся, и мне кажется, что он счастлив. Он такой чудный человечек, так преданно и нежно любит меня и, в свою очередь, так заботится обо мне. Он, мамочка, еще покажет себя и в музыке. Я в это верю. А главное, что он сам стал верить. А это самое, самое важное в жизни: вера в себя. Мне удалось ему ее внушить. Я торжествую, я сама не играю (как раньше думала: буду играть), но зато я – пульс Алешиной жизни, как он сам говорит (это я только для вас пишу, и ты никому не повторяй), и причина его возврата к музыке – это я. Ты представляешь, как мой курносый нос теперь радостно задирается кверху?!!»

Таточка во всем, всегда подражала Ольге Васильевне. Восхищалась ее твердым характером, силой воли, самопожертвованием. Называла своим «дружочком», «карапузиком», «идеалом». Позднее посвятила сонет:

Я голос твой узнаю без ошибки
Из тысячи знакомых голосов.
Он надо мной звучал от первых снов,
Когда меня ты усыпляла в зыбке.
Он таял в нежности твоей улыбки,
Струился в запахе твоих духов.

Он отвечал на мой горячий зов,
Твой голос нежный —
женственный и гибкий.

Твоей походки скованные звенья
Я различу, где только видит глаз,
В ней отражен твой жизненный запас.

Ольга Васильевна отдала жизнь мужу-художнику. Тата была готова отдать ее будущему пианисту. Чем покорнее и увлеченнее занимался дед музыкой, тем реальнее становилась Таточкина мечта сделать из него знаменитость. Ей уже виделась Москва, Большой концертный зал консерватории, афиши с именем Богданова. Близилась, близилась чудесная творческая жизнь, и от предвкушения этого, казалось, почти осязаемого будущего Тата ликовала: «Мамочка, самое лучшее призвание, по-моему (кроме детей), это быть нужной своему мужу как вода и воздух. Алеша без меня не может жить совсем теперь, после того как я его уговорила начать заниматься музыкой и внушила ему эту веру в себя. Если бы ты знала, как я его люблю ужасно, как он мне дорог, как жизнь прямо. Да ты, конечно, знаешь! Тебе ведь папочка так же дорог, как жизнь!»

Я ведь во всем стараюсь подражать тебе и сама создаю себе твои характер и привычки (это для меня идеал). Очень смешно бывает, когда Алеша сидит, играет, а я куда-нибудь уйду в другую комнату, а он поиграет и пойдет меня искать: «Где ты? Что ты делаешь?» Он любит, когда я сижу и работаю рядом с ним около рояля... Мы живем друг другом, твоими письмами и нашей музыкой. Мы оба всегда удивляемся, за что судьба нам послала друг друга и такое счастье. Мы с Алешей третий год переживаем медовый год и ходим, как новобрачные, которм, кроме друг друга, ничто не интересно и не нужно. Надо увидеть нас идущих по улице под руку: никогда и не скажешь, что люди третий год женаты. Мы до сих пор выглядим так, будто только что встретились украдкой на углу улицы и спешим в какой-то кинематограф или ресторанчик, чтобы скрыться от людей. Это прямо удивительно. Утром мы так долго прощаемся, целуемся и крестим друг друга, как будто расстаемся на неделю, а в пять часов вечера кидаемся друг другу в объятия, будто неделю не виделись. Это редко бывает на свете. Но у нас это есть, и мы это бережем».

Они уже собирались вернуться в Москву, как пришло известие, что надо задержаться еще на год. Крепя сердце остались. Дед продолжал играть по вечерам дома и в гостях у Коненкова. Раз, исполняя органнй концерт Баха, сбился посредине, долго импровизировал, с божьей помощью «вырулил» на заключительные торжественные аккорды. Жена Коненкова с уважением заметила: «Ну и память у Вас, Алексей Алексеевич, такую большую вещь без нот сыграли!» Таточка смешливо написала об этом Ольге Васильевне, но в душе появились первые, едва заметные сомнения: «А что, если такое произойдет на концерте?!»



С Батенькой, 1933

Постепенно они переросли в уверенность. Играл дед прекрасно, мог преподавать, но концертная деятельность ему была заказана. «Мамочка... Вот насчет сонаты. Первую и вторую часть сонаты Алеша играет хорошо. Особенно марш траурный. Первая часть немного суховата, но он просто ее еще не прочувствовал, но марш и этот ветер после марша, который дует над могилой, – просто удивительно. Это ветер, пустота и небытие, ничего нету, кроме ветра и мрака. Это само по себе очень страшно, слишком реально. Алеша играет это очень хорошо: воет ветер, и так пусто-пусто на душе делается.

И никакой сладости и в помине не должно быть, и стихийности нету, и тревоги нету, никаких переживаний, потому что человек умер, и человека нету, а есть пустота, ночь и ветер на могиле. И это не должно шелестеть, потому что в шелесте есть романтизм, а это должно выть и должно пусто звучать. Алеша, как тончайший музыкант, это очень хорошо передает. Вообще, я не думаю, что он будет выступать. У него нету блеска в музыке, как это должно быть у эстрадного пианиста. Но у него есть глубина, чувства, большой дух, и дома его слушать просто блаженство».

Петр Петрович и Ольга Васильевна все чаще просили в письмах внука. Тата объясняла, что в Америке «наследник» будет не по карману: врачи и клиники стоят колоссальных денег. Обещала завести ребенка по возвращении в Россию. Читая письма, где она так убедительно объясняла чисто финансовые помехи, я поразилась ее выдержке. Обожавшая родителей, рассказывавшая им о своей жизни в мельчайших деталях, Тата, чтобы их не волновать, скрывала главное.

Она поняла, что находится в положении еще по дороге в Америку, в декабре 1927 года. Несчастье произошло через несколько недель после приезда в Сизтл. С утра дед ушел на работу, Тата принялась за уборку. Перебирая бумаги на бюро, случайно нашла письмо его бывшей жены, которой Богданов, к слову сказать, аккуратно высылал часть своей заработной платы. Эмансипированная дама с папироской, всегда холодноватая, равнодушная к мужу и его интересам, «упустив» его, повела себя как средневековая ведьма. Уже собираясь замуж за нового поклонника, прокляла в письме Алексея Алексеевича, Тату и их будущих детей

и внуков. Тем же вечером случился выкидыш. Тата оправилась, о страшном письме постаралась забыть. Выбирала имена почему-то только для девочек. Марфонька... Варенька... В течение трех последующих лет шесть раз обрывались нормально развивающиеся беременности. Старый врач озадаченно протирал очки после очередного осмотра. «Вы абсолютно здоровы, миссис Богдановф. Не понимаю, почему Вам не удастся доносить. Такого в моей врачебной практике не случалось!» Перед возвращением в Москву, во Владивостоке уже, родился мертвый ребенок. Плод к моменту родов начал разлагаться, боялись сепсиса. Спасла Тату умелая акушерка по имени Сара, которую она всегда с благодарностью вспоминала. Приехав в Москву, поняла, что надеяться можно только на чудо. Пошла в маленькую церковь в Брюсовом переулке, встала на колени перед чудотворной иконой Богородицы «Взыскания всех погибших» и обратилась с горячей молитвой к кроткому, всепрощающему лику. Через десять месяцев, 7 ноября 1931 года, на колокольню церкви, находившейся недалеко от роддома, забрались озорные мальчишки и встретили «красный день календаря» веселым перезвоном. Под него и родилась у Натальи Петровны и Алексея Алексеевича дочь Катенька, моя будущая мама, большая, весом в пять килограммов, прозванная веселыми медсестрами Царь-бабой. Два года родители не могли нарадоваться на долгожданного ребенка. Лето проводили в усадьбе Петра Петровича – в Буграх, под Обнинском. Просторный деревянный дом с большими окнами, выходящими в чудесный яблоневый сад, был построен еще в конце девятнадцатого века. Долгое время им владел профессор Трояновский. Потом купил Кончаловский. Приезжали в гости Лентулов и Машков с женами. Друзья уходили на этюды, супруги оставались беседовать дома. Жена Машкова, манерная дама, нарочито не выговаривавшая букву «р», заводила разговор о нападках критиков. Глубокомысленно делилась с Ольгой Васильевной: «Петг Петгович такая гуина! Такая гуина! Ему все гавно, а вот Игье Ивановичу не все гавно!» Пряча смешливые искорки в глазах, Ольга Васильевна сочувственно кивала. Дом гостеприимно принимал удивительных людей: композитора Прокофьева, пианиста Сафроницкого, писателя Алексея Толстого. У прежней хозяйки, дочери профессора, сохранившей за собой небольшой флигелек в саду, часто отдыхал молодой Рихтер. Закавав брюки до колен, бродил ранним утром по густой росистой траве, потом играл. Петр Петрович целыми днями работал в мастерской. Внучка стала любимой моделью: писал ее спящей, играющей, на руках у няни, испуганно стоящей на слабых еще ножках у стула. Наталья Петровна, если дочка «не позировала», играла с ней, радостно хохочущей, перед домом. Алексей Алексеевич уходил с грустноглазым сеттером по кличке Альма в соседний лес охотиться. Он так и не стал профессиональным пианистом, да и в семью Кончаловских по-настоящему не вошел: к «немцу» относились доброжелательно иронично. Семейная жизнь Таты начинала незаметно давать трещины. Внешне все было замечательно. Дед аккуратно ходил на службу и писал длинные доклады. Вовремя возвращался домой, обстоятельно рассказывал о работе. Был вежлив, спокоен, ласков. Тата рассеянно слушала, не слыша, грустно улыбалась. Ей уже отчетливо виделась бесконечная череда ничем не отличающихся друг от друга дней. Сами собой складывались первые рифмы:

Мысли сонной недосуг
Понимать восторгов шумных,
Все спокойно, все разумно,
Все замкнуто в тесный круг.

Ты вперед глядишь с тоскою —
Все прожито, нету цели,
Только сумрак и покой.
Нет, с тобой я не пойду.

Бывший друг мой,
Друг мой милый,
Я момент не упустила.
Я другую жизнь найду.

Ты ж найдешь себе других.
Тех попугчиков спокойных,
Что, боясь путей окольных,
Ищут скучных, но прямых.

Я пути найду не сразу,
Но свобода – мой маяк...

Незаметно возникшее прохладное отчуждение оказалось разрушительнее открытых конфликтов. Долгие месяцы Тата думала, переживала, сомневалась, затем приняла решение. «Посвятить всю жизнь человеку, не занимающемуся творчеством, я не способна. Мы будем несчастны. Мы уже несчастны, и оба это понимаем». В день рождения деда, после обеда, твердо сказала:

– Алешенька, я от тебя ухожу.

Он, внутренне к этому готовый, спокойно ответил:

– Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?

Попив кофе, они расстались. Вскоре вслед за его старшим братом посадили и деда. Из тюрьмы он не вышел: покончил жизнь самоубийством... Тате было тридцать два года. Почти каждый день она отправлялась с маленькой мамой в Московский университет слушать лекции по искусству, истории, философии.

– А что же делала мама во время лекций? – удивлялась я.

– С увлечением бегала в университетском гардеробе между студенческими шубками и пальто, – улыбаясь, отвечала Тата. – Старушка-гардеробщица за ней приглядывала, пока я «залатывала» пробелы в образовании!



Таточка, 1939

За Татой тогда ухаживали многие. Она нравилась, хотя не была красива классической красотой, знала это и даже написала о своей внешности стихи:

О красоте

Что с того, что я не так красива,
Как меня поэт зарифмовал.
Неужели только в этом сила:
Цвет лица, и форма, и овал?

Неужели только римский носик,
Пышный локон, крашенная бровь
На высоты женщину возносят,
Возбуждая зависть и любовь?

Свежесть чувств заменит свежесть кожи,
Свежесть мысли – юных щек пожар,
И пускай мне сердце не тревожит
Мысль о том, что я не хороша.

При широких бедрах – легче роды;
Сердце крепче – при крутой груди;
И у мудрой матери-природы

Есть закон для всех людей один:

Если ты красив, то неудачлив;
Если неказист, то тароват;
Кто бедней лицом – умом богаче.
Кто бедней умом – лицом богат.

Потому-то я своей дочурке
Не просила расписных красот,
Пусть судьбой своей играет в жмурки.
Таровата будет – так найдет.

В тот момент пресловутая судьба готовила ей самой замечательный сюрприз. В ее жизни появился и, как оказалось, на полвека, молодой (всего двадцать один год), талантливый поэт Сергей Михалков. Спустя десятилетия после их знакомства Тата продолжала вспоминать, какие Сергей Владимирович тогда устраивал розыгрыши. Вот самый знаменитый: набрав в большую бутылку яблочного сока, он зашел с Таточкой в лабораторию и серьезно протянул бутылку в окошечко. «В-озьмите, п-пожалуйста, анализ м-м-очи». «Почему же так много, товарищ?!» – растерянно пролепетала медсестричка. «А это от в-в-сех жильцов н-нашего дома!» – невозмутимо ответил будущий автор гимна.

Отличительной чертой Сергея Владимировича была редкая доброта. Мама, четырехлетняя тогда, это сразу почувствовала и к нему потянулась. Сергей Владимирович водил ее по ресторанам, заказывая любимое блюдо «дамы» – котлеты. Если не допивала кисель, деловито говорил прыскающим в кулак официанткам: «З-заверните нам его, и-пожалуйста, в б-бумажку!» Таскал с собой по редакциям. Сотрудники их издавала узнавали: «Вот идут писатель и читатель!» Таточка любила мне рассказывать, как, «защищая интересы» будущего отчима, пятилетняя мама прогнала одного из ее поклонников, известного писателя. Тот – серьезный, в очках, в галошах, в очередной раз пришел на чаепитие. Мама «сердечно» встретила его на пороге словами: «Ты к нам больше не ходи. А то отправишься домой без калош!» Вскоре поставила родительнице ультиматум: «Или выйдешь замуж за Сережу, или за никого!» Через пару месяцев Сергей Владимирович и Наталья Петровна уехали в свадебное путешествие по Средней Азии. У Таты был удивительный дар рассказывать о самых «деликатных» моментах своей жизни просто и весело. О чем-то она писала в книгах, что-то оставляла для «личного пользования», для близких, но в обоих случаях говорила о самом смешном, печальном или трагикомичном, ничего не приукрашивая и не скрывая. Однажды она поведала мне историю той поездки.

Добравшись до места назначения, Сергей Владимирович отправился под палящим южным солнцем обследовать достопримечательности, а Тата решила отдохнуть в номере. Через час вернулся сияющий со свертком под мышкой.

– П-посмотри, что я к-купил! Ручная работа! – Сергей Владимирович гордо развернул перед женой «шедевр» местного коврового искусства и вопросительно к ней обернулся, ожидая похвал. Тата возмущенно всплеснула руками:

– Сереженька, что ты притащил!? Это не ковер ручной работы, а сшитая из санаторных ковровых дорожек подделка. Нельзя же быть таким доверчивым. Тебя надули! Верни эту гадость продавшему ее аферисту! Немедленно!

Взамен Тата купила чудесный маленький коврик (он хранится у моей мамы до сих пор, прикрывая, кстати, гигантский потертый сундук Богданова, привезенный им из Америки).

– А Сереженька после взбучки загрустил, посадил меня в поезд и помахал рукой, – продолжила Тата рассказ.

– Как?! – не поняла я.

– Вот так, – рассмеялась она, изображая заикание мужа.: «Ты, Н-наташенька, езжай дальше, а я, п-пожалуй, чуть п-подзадержусь!»

– И что же ты сделала? – ужаснулась я.

– Обливаясь слезами, поехала из моего свадебного путешествия домой одна и... уже в положении! – улыбаясь, продолжила Таточка. – Но самое сложное началось потом. Я ведь, Ольгушка, была очень вспыльчива, и из-за этого то и дело возникали размолвки. Мы решили с Сереженькой сходить к знаменитому в то время в Москве психологу Квитко. Худой, подтянутый, он встретил нас на пороге со скрипкой в руке – свободное время посвящал музыке. Рассказали о наших неурядицах. Квитко внимательно выслушал и дал мне два бесценных совета. «Наталья Петровна, – сказал он, оставшись со мной с глазу на глаз в кабинете. – В вашей жизни на первом месте стоит муж, на втором – дети, а на третьем – Вы и ваша работа. С сегодняшнего дня установленный порядок должен измениться.



С Катей и Андроном. 1939

На первое место ставьте себя, на второе – детей, а уж третье оставьте благоверному. А чтобы не гневаться по пустякам, заведите тетрабочку и ставьте себе оценки за поведение. Да-да, как в гимназии. Рассердились на кого-то из домашних или посторонних, вышли из себя – получайте двойку. Сумели сохранить спокойствие – заслужили пятерку». Тата с мсти-

тельным удовольствием выводила себе в течение нескольких дней колы и единицы и вскоре заметила разительные изменения. Эмоции уже не захлестывали ее – она научилась не замечать ленивого хамства продавщиц в магазинах, недостаток внимания домашних, пропускать мимо ушей неприятные слова. Думаю, что совет знаменитого врача был лишь полделом. Только с Татиной силой воли можно было добиться таких поразительных результатов. За пару месяцев из вспыльчивой, гневливой особы она превратилась, вернее, превратила себя в выдержанную, в совершенстве владеющую собой леди со стальными нервами...

Утром ветер разметал березы,
Нашумел на яблони в саду,
Залетел в окно ко мне с угрозой
Опрокинуть лампу на лету,
В уголке за печкой притулился
И затих...

Если первый брак Таты был основан на «диффузии» и растворении в творческой карьере мужа (увы, несостоявшейся): все время вместе, неразлучно, за руку, то второй на этом принципе строить было немислимо. Сергей Владимирович, несмотря на молодость, был состоявшейся творческой личностью и не нуждался в том, чтобы его подталкивали. Да и сидеть денно и ночью подле супруги, держа ее за руку, не собирался. Жену он любил, но не хотел жертвовать ни своим кругом общения, ни охотой с друзьями, ни творческими командировками. Тогда-то Тата, окончательно расставшись со стереотипом семейной пары родителей, где все было подчинено творчеству Петра Петровича, решила состояться как творческая личность. Помимо стихов занялась переводами. Перевела Бернса. С замирающим сердцем отнесла на суд к Маршаку. Тот похвалил. Переводы напечатали. Это было началом. Потом появились многочисленные детские стихи: добрые, поучительные, легко запоминающиеся, либретто к операм, рассказы, книга о деде – В. И. Сурикове, перевод поэмы Мистеля. Настоящим шедевром стала «Наша древняя столица». Тата писала ее в конце сороковых и начале пятидесятых годов, уже будучи мамой маленького Никиты Сергеевича. Перед началом работы перелопатила такое количество научных трудов и архивов, что стала настоящим экспертом по истории Москвы. Вообще этой одареннейшей женщине была свойственна редкая тщательность в работе. Дочь, внучка и жена знаменитостей, она не давала себе никаких поблажек, зная: то, что простится другой, ей поставят в упрек. В результате стиль у нее выработался безукоризненный – легкий и познавательный.

Говорят, что красота женщины – это наживка, на которую сильный пол клюет, но крючком, с которого не сорваться, является ее ум. Это очень отчетливо прослеживалось в Татиных отношениях с Сергеем Владимировичем. С годами он все больше ее ценил, все чаще советовался. Как-то вернулся грустный с приема в Кремле, где Сталин собирал цвет творческой интеллигенции. Понуро присел на Татину кровать.

– П-представляешь, Иосиф В-Виссарионович сказал: «Т-товарищ Михалков относится к нам к-как к д-детям».

– А что ты ответил? – заинтересованно приподнялась Тата с подушки.

– Н-ничего! Р-растерялся.

– Сереженька, как же ты не догадался ответить Иосифу Виссарионовичу его же фразой: да, конечно, отношусь как к детям, ведь «дети – наше будущее». Сергей Владимирович с нескрываемым восторгом посмотрел на жену:

– Н-наташенька, ты г-гениальная женщина!

Несмотря на истинное дружество, существовавшее между ними, вкусы и привычки их разнились. Тата в одном письме Сергею Владимировичу написала: «Ты для меня не тот

Михалков – депутат, академик, член правительства. Ты для меня – отец моих сыновей, зять моего блистательного отца Петра Петровича, хозяин в моем доме, мой защитник, человек, меня уважающий... Но то, что мне интересно, тебе непонятно. А то, что тебе интересно, для меня чушь... Чем я горжусь, это твоим талантом, который всегда был сильным, самодостаточным».

Цени талант и уважая «разность» друг друга, отдыхать они предпочитали по отдельности: Сергей Владимирович в мужской компании, Тата с приятельницами. Во время недолгой разлуки обменивались поэтическими телеграммами, вызывавшими восторг у работниц соседнего отделения связи.

Наталья Петровна – Сергею Владимировичу:

В Путивле плачет Ярославна
Одна, на городской стене.
Мне ж здесь, в Москве, живется славно.
Вернись, дружок, вернись ко мне!

Сергей Владимирович – Наталье Петровне:

Домой вернусь я непременно,
К тебе на крыльях прилечу,
Но за коварную измену,
Смотри, жестоко отплачу!

Непросто заниматься творчеством, имея троих детей и ведя светский образ жизни. Тате это удавалось. К быту она относилась легко и просто. В крохотной ли комнатке в коммуналке, где они вначале жили с Сергеем Владимировичем, в маленькой ли двухкомнатной квартирке, полученной позднее, или в просторной квартире на Воровского, которую я запомнила, повсюду она создавала удивительно уютную и изысканную обстановку. Возможно, это было одним из проявлений ее мудрости. Один крупный ученый утверждал, что способность индивидуума адаптироваться является неоспоримым доказательством его ума. Может быть (это для тех, кто верит в китайский гороскоп), секрет крылся в умении рожденных, как Тата, в год Кота комфортно обустраиваться. Мама до сих пор вспоминает, как в эвакуации, в далекой Алма-Ате с ней и маленьким Андроном, Таточка в первый же день купила на базаре диван, кровать, пару ковров, отыскала где-то старинный стол, все это умело расставила в выделенных ей двух комнатках и через пару дней принимала московских знакомых. Растерянные гости разводили руками: «Наташенька, как Вам удалось так замечательно и быстро обжиться? Мы все еще на чемоданах, пьем валидол и не знаем, с чего начать! Вы – чудесница!»

Помимо легкости и «savoir faire» были и помощницы. Хотя Тата, как профессиональный повар, варила варенье, закатывала консервы, пекла черный хлеб и изящные круассаны; не хуже портних шила и вязала, но быстро поняла, что каждодневная домашняя работа – это рутина, неблагоприятное занятие, отнимающее массу времени. А его можно и должно использовать на дела более интересные и интеллектуальные. Выбор не барыни, но творческого человека она сделала быстро. Пока Тата сидела за письменным столом, хозяйством занималась Поля, о которой я уже упоминала. Кругленькая деревенская женщина со вздернутым носиком и всегда удивленными глазами. Расторопная, веселая, умелая, она пришла в дом двадцатилетней вместе со своим мужем Павлом. Сильно пьющий Павел с вечно одутловатым лицом ухаживал за садом на Николиной горе, Поля отвечала за готовку и уборку. Она провела в доме сорок лет. В первые годы, не освоив еще все тонкости кулинарного искус-

ства, получала иногда от Таточки нагоняй. Впрочем, «нагоняй» – не то слово. Если Поля «запарывала» какое-нибудь блюдо для званого обеда, Таточка, светски улыбнувшись гостям, вставала из-за стола, шла на кухню и тихо, укоризненно спрашивала помощницу: «Полечка, чем же ты думала?» – «Жопой, Наталья Петровна!» – звонко рапортовала Поля, и гости испуганно вздрагивали. Тата относилась к редкой категории женщин, умеющих дружить. По-настоящему, без интриг, зависти и колких острот за глаза. Помимо несметного количества приятельниц, знакомых и почитательниц были у нее две близкие подруги – пикантная черноглазая Люба Дубенская (жена режиссера Зархи) и монтажер с Мосфильма Ева Михайловна Ладыженская.



Наталья Петровна, 1947

Высокая, худая, с длинным носом, печальными голубыми глазами и короткими вьющимися волосами – дочь еврейского сапожника. Профессионалом она была непревзойденным: работала с Ромом, с Александровым. Я ее помню уже седой, старой, с неизменной сигаретой в иссохшихся пальцах. Тата в молодости тоже курила, но в сорок с небольшим бросила. Произошло это забавно. Однажды (дело было в конце сороковых годов) Ева Михайловна гордо принесла Тате блок «Явы». Замечательный подарок для тех непростых лет. Подымив, они завели разговор о том, легко ли бросить курить.

– Да это просто-напросто невозможно, – авторитетно заявила Ева Михайловна. – Я курю уже двадцать лет и бросить не смогу никогда.

– А я смогу! – азартно сказала Тата.

– Наташенька, привычка – вторая натура. Ты тоже не сможешь, поверь мне.

– Смогу, Евушка.

– Нет, Наташенька!

– Я сказала, что смогу, значит, так и будет. Бросаю курить сегодня, сейчас же. – И в подтверждение своих слов Тата небрежным жестом выкинула блок сигарет в окно.

– Ой! – в отчаянии закричала Ева Михайловна, схватившись за голову. – Ой, какой ужас, их же подберут! – и пулей вылетела из квартиры. Вернувшись запыхавшаяся со спасенным сокровищем, она укоризненно посмотрела на подругу:

– Даже если ты меня очень попросишь, Наташенька, сигареты я тебе не отдам. Я буду курить их сама. А ты завтра очень даже пожалеешь о моей замечательной сухой «Яве».

– Не пожалею, Евушка, потому что никогда больше не буду курить, – сказала Тата и, действительно, больше не курила.

Татины болезни (достаточно тяжелые) никогда не были предметом ее разговоров и жалоб, и оттого никто из внуков о них почти ничего не знал. Много позднее мама мне подробно о них рассказала. Перед войной Тата подхватила стрептококковую ангину, попив минеральной воды на улице из автомата. Ангина дала осложнение на сердце и суставы. Стоило ей пройти сотню метров, как начинали синеть ногти на руках. Постоянно ломило коленные суставы. Болела она терпеливо, тихонько молилась. Мама вспоминает их путешествие (Тата, мама, маленькие Андрон и Никита и его няня Хуанита) в Латвию, летом 1946 года. Остановились в Доме творчества под Ригой, в местечке со звонким названием Дзинтари. Дом творчества власти обустроили в двух старинных особняках. Вокруг раскинулся ухоженный парк с круглыми клумбами. Пятнадцатилетняя мама по нему бродила. С маленьким Никитой сидела няня, молоденькая испанка Хуанита, а Тата от боли и с постели встать не могла: сырой климат спровоцировал обострение ревматизма. В крохотном флигельке жил с семьей старый латыш Ландманис, бывший хозяин усадьбы. Его оставили на хозяйстве чем-то вроде администратора, и он тщательно исполнял свои обязанности. В прозрачно-голубых глазах старика поблескивали игольчатые льдинки ненависти. Зайдя к Тате то ли со свежим бельем, то ли с чайником, Ландманис увидел у нее над кроватью маленький образок Богородицы, который она с собой повсюду возила. Мама навсегда запомнила, как в тот момент изменилось его лицо: льдинки в глазах неожиданно растаяли, старческие морщины от этого стали явственны, и он сочувствующе предложил: «Я вижу, вы болеете. Если Вам что-нибудь понадобится, лекарства или помощь, обращайтесь ко мне».

К пятидесяти годам прибавились больные вены на ногах. Несмотря на это, Тата ежедневно делала изнурительную гимнастику, выхаживала обязательные километры, туго забинтовав ноги эластичными бинтами. Нашла недалеко от Николиной горы умелую массажистку и спасалась массажами. Она была не изнежена, но ухожена. Выглядеть хорошо не стало для нее с годами, как для многих женщин с положением, самоцелью. Стремление максимально долго оставаться в хорошей физической форме объяснялось нежеланием оказаться в тягость окружающим и самой себе. Когда врач в Париже посоветовал сесть на диету, чтобы не утомлять сердце, она немедленно последовала совету, ограничивала себя во всем и, к старости уже, обрела вес своих четырнадцати лет – 74 килограмма. (При ее невероятно тяжелой кости это можно было расценивать как подвиг). Сергей Владимирович, к слову сказать, был против диет и сочинил такие стишки: «Зачем худеть?! Зачем худеть?! Куда тебя, худую, деть?!» Тата долго оставалась пикантной, остроумной, обаятельной, и немало творческих людей ею увлекались. Эти отношения нельзя было назвать ни романами, ни флиртом. Я бы их охарактеризовала как платоническое обожание. Тата становилась предметом поклонения, вдохновительницей, музой. Знаменита история с Павлом Васильевым, посвятившим ей в тридцатые годы несколько замечательных стихотворений. Талантливый, но излишне эмоциональный поэт Тату однажды оскорбил, потом целый день стоял на коленях в подъезде перед дверью – вымаливал прощение. Вымолил, но Тата его с тех пор избегала и в отместку за грубость сочинила ехидные стихи.

Павлу Васильеву

Ты мне прислал живую розу,

Такую красную – как кровь.
Ее шипы, ее занозы
Острее других, простых шипов.

Но аромат меня смущает,
Щекочет ноздри мне до слез.
Пусть Сатана тебя венчает
Венком из этих шалых роз!

В начале пятидесятых годов Тата познакомилась со скульптором Никогасяном, и он загорелся идеей лепить ее бюст. Насколько природа одарила Никогасяна талантом, настолько же обездолила его в плане внешности. Невысокого роста, носатый, волосатый до последней крайности. Приехав как-то жарким летним днем на Николину Гору работать над бюстом, он решил вначале освежиться и отправился купаться на речку. Петр Петрович, выбравшийся из Бугров навестить дочь, в это время прогуливался у берега. Вернувшись домой, он сообщил всем домашним, лукаво улыбаясь: «Представляете, был сейчас возле реки. Смотрю изда- лека, сидит на песке большущий лохматый пес, подошел поближе. Ба, да это же Никогасян на солнышке сушится!» Все, конечно (кроме Таты), над бедным ваятелем смеялись. Никогасян настолько восторженно рассказывал о Тате у себя дома, что вызвал приступы необосно- ванной ревности у молодой жены (по воспоминаниям Таты, это была эффектная блондинка моложе ее лет на двадцать). Тата не опускалась до объяснений с мнительной дамой, а про- сто-напросто сочинила стихи:

Ревнивой красавице

Недружелюбие тая,
Глазами дивными пытливо
Ты смотришь на меня, а я —
Немолода и некрасива.

Прошла пора моей весны —
С природою свожу я счеты,
И мне уже очки нужны,
Чтоб разглядеть твои красоты.

Но жизнь устроена хитро —
Она мне слово подарила.
И я беру мое перо,
Оно мне – молодость и сила.

В нем – горечь дорогих потерь,
В нем – свет и радость созиданья.
А ну, красавица, теперь,
Вступай со мной в соревнованье!

Тата всегда любила фотографироваться, думаю, в этом проявлялась артистичность ее натуры. В фас и в профиль, в разных нарядах и украшениях – настоящие снимки кинозвезды. Самая моя любимая фотография: она в сорок с небольшим, с высокой прической, маленьким кокетливым локоном у лба, в меховой накидке, в пол-оборота смотрит чуть вверх: прелест- ные, чуть раскосые глаза, красивый рот, капельку вздернутый нос. Много лет спустя (Таты

уже не было) я с гордостью показала эту фотографию, которую всегда носила с собой в бумажнике, старой, всеми почитаемой родственнице моего мужа. Крупная старуха с острым носом и перекошенным из-за застуженного лицевого нерва ртом была известна своей проныцательностью, жестким, мужским каким-то умом, точностью оценок и неумением врать. Она, не выдавая Тату при жизни и не читавшая ее книг, потому что жила в Бельгии и не говорила по-русски, на несколько секунд впилась ястребиным взглядом в фотографию. «N'est-ce pas ta grand-tete etait tres belle?» (Моя бабушка была красива, не так ли?) – спросила я. Оторвав пронзительный и оттого кажущийся злым взгляд от фотографии, она уставилась на меня в упор и каркаяще отчеканила не терпящим возражений тоном: «Oui, ta chere, mais avant tout c'était une grand dame – ca se voit tout de suite!» (Да, моя дорогая, но, прежде всего, она была гранд-дама, и это видно с первого взгляда!)

По-русски можно сказать проще: Тата была царственна. Не важна, не строга, не высокомерна, а именно царственна. Это сразу же, только войдя в семью, заметил ее зять и мой отец, будущий писатель Юлиан Семенов, а тогда молодой научный сотрудник исторического факультета Московского университета, эрудит Юлик Ляндрес. Поехав на отдых с моей мамой и большим своим другом в ту пору, Андроном Сергеевичем, которого он ласково называл «Андрончик, братик мой», отец написал «царственной» теще шутивное стилизованное письмо:

«Матушка-государыня, Наталья Свет Петровна!

Бьют тебе челом из-за моря-окияна рабы твоя Юлька Семенов, Андрейка Сергеев и Катька, пребывая в добром здравии и отменном аппетите. Местечко, в коем нашли мы любезное пристанище, изрядно хорошее, солнечное и водами моря-окияна омываемое. Остановились мы в хижине гостеприимной аборигенши. Слюда в окнах отменно прозрачна, не иначе как из пузырей неведомых заморских рыб сделанная. В первый же день девка Катька, вопреки ударам хлыста мужа ея, пошла на берег днем и там, оставшись в одиночестве, предалась двухчасовому сну, следствием чего является ожог спины. Сын Сергеев ежечасно о пище стонет, на дев глазами пялит и плавает со мной не далее как в пяти метрах от берега, опасаясь неведомых рыб, а также подводных лодок, кои перескопы свои, ако иглы из пучин морских выставляют. Матушка-государыня, припадаю к стопам твоим, моля Бога нашего доброго тебе здравия, щастья и прочаго и прочаго. Остаюсь твой покорный слуга и раб

Юлька.

P. S.

Шлю поцелуи своя пресветлому отцу и заступнику нашему Сергею Свет Владимировичу, если он еще на своем линкоре не отправился бороздить пучины в сопровождении славных своих опричников молодцев, и наследному сыну Никитке-бандуристу, коему мы отменный подарок привезем, если поведение его и музыкальные упражнения похвалы заслуживать будут».

Далее следует приписка мамы в том же духе:

«Матушка-государыня, письмо свое с дядьями-ягерями пришлю, поскольку сейчас в сем плачевном положении нахожусь».

Послание завершал мамин рисунок – ее, обгоревшей, автопортрет.



С книгой «Дар бесценный», 1970-е гг.

Чем известнее становилась Тата, тем чаще ее приглашали на выступления в школы, институты, военные части. Выступать она любила, выступала прекрасно. Это были не творческие вечера, а настоящие спектакли. Она рассказывала о Сурикове, Эдит Пиаф, Жорже Брассенсе, Жульетт Греко. Независимо от темы, увлекательное повествование захватывало зрителей полностью. На фотографиях тех лет Тата то в толпе школьников с довольными мордашками, то с улыбающимися сотрудницами какого-то учреждения, то в окружении дородных военных, смотрящих на нее с откровенным мальчишеским восторгом. Она зажигала, заряжала публику: темперамент у нее был сумасшедший. А еще был, столь свойственный всем талантливым людям, страх не успеть. Она не давала себе отдыха, и с возрастом темп ее жизни не замедлялся, а вопреки всем законам природы убыстрялся.

Из письма Н. П. Кончаловской к Римме Казаковой. 1968 год:

«Я начала писать только в тридцать лет, и поэтому к шестидесяти пяти годам у меня сделано мало. И сейчас, когда дом полон невесток, внуков, дивное дело, надо ехать в Рязань и выступать перед огромными аудиториями студентов, жаждущих стихов Брассенса и певцов Франции. Там благодарны тебе, и это – праздник».

Злые языки утверждали, что за спиной могущественного мужа Наталья Петровна ничего не знала о реальной жизни: существовала как в аквариуме. Это неправда. Она объ-

ездила со своими спектаклями полстраны, вдумчиво беседовала с людьми, все примечая и запоминая. Лишь однажды она о нашей советской аскетической действительности забыла. Эта смешная история произошла на Новый год. В течение долгих лет он встречался всей семьей на Николиной Горе. Вокруг раздвинутого стола из карельской березы рассаживалось семейство, друзья, и веселье продолжалось до рассвета. Однажды Таточка решила сделать сюрприз и тайком заказала в соседней деревне тройку, запряженную в большие сани. Когда на темном заснеженном дворе весело зазвенели бубенцы, Сергей Владимирович настороженно спросил:

– Н-наташенька, это что т-там т-та-кое?

– Тройка приехала, будем кататься, – весело ответила Тата.



С дочерью, Николина Гора. 1958

Испуганный Михалков широко раскрыл глаза и даже больше стал заикаться:

– К-какая т-тройка!? Я же ч-член п-партии! Т-ты п-представляешь, что в «П-правде» напечатают?!

Поспешно выйдя к колхозникам, он щедро с ними расплатился и отправил довольных восвояси...

Начиная с середины семидесятых годов Тата почти безвылазно жила на Николиной Горе. Сергей Владимирович приезжал лишь на выходные, всю неделю, как ярый урбанист, проводя в Москве, благо о нем заботилась старенькая уже Поля. Чувствовала ли Тата одиночество? Конечно. Однажды даже написала мужу горькое письмо. К адресату оно не попало. В последний момент Тата оставила его в своих бумагах. Она отчетливо поняла, что никакое письмо ничего изменить не сможет. Они, столь тесно связанные, понимающие друг друга с полуслова, любящие друг друга десятки лет, обречены проводить врозь больше времени, чем вместе. Замечательно объяснила это она в письме к моему отцу:

«Я – человек счастливый... Однажды ты был с Катей на моем дне рождения, когда Сергея не было, а были Ливановы, Ефимовы, Гончаров с женой, Павел Марков. Помнишь, как Женя Ливанова сказала мне: “Как ты могла упустить Сережу? Ведь он как писатель про-

падает, идет к администрированию, к почету, орденам, а искусство его остается позади. Как ты это допускаешь?» И тогда я разразилась речью о том, что не имею права ни в чем упрекнуть моего Сергея, потому что он мне создал такие условия, когда я могу писать, что хочу, жить, как хочу, ездить, куда хочу, и за его широкой спиной я выросла в писателя той категории, которому не приходится вымарывать из своих сочинений ни одного слова! Это же счастье, и поэтому я пью за здоровье человека, за чьей спиной выросли и я, и наши сыновья! И тогда Андрей Гончаров разразился тирадой такого восхищения моим отношением к Сергею и говорил такие страстные слова, что его жена просто плакала от волнения и радости. Я и сейчас все время не устаю внутренне благодарить Сережу за его доброту и самоотверженность в отношении нас троих. Хожу по Николиной и целую каждую сосну, приговаривая: «Спасибо тебе, Сереженька, ангел мой! Тебя хоть со мной никогда нет, да только каждую минуту я чувствую твое присутствие во всем. В комфорте, в заботе, в холодильнике, в теплой воде моей ванны, в розах, цветущих перед окнами. А тебя нет со мной, не можешь ты быть рядом, потому что в крови у тебя иной резус, чем у меня! И ничего с этим не поделаешь...»» Татиной гордостью и радостью были ее сыновья, ее «мальчики». В письме к подруге она признавалась: «Я вкладывала в них обоих огромные свои запасы. Лучшие мои произведения – Андрон и Никита». Их успехи и неудачи воспринимались ею как личные. Злобные нападки завистников приводили в отчаяние. Страшнее всего для Таты были сыновья творческие размолвки. Памятуя об этом, они старались их от «мамочки» скрывать. Каждое утро выходили бок о бок из старого дома, отданного им родителями и стоявшего напротив Татиного, построенного позднее, и дружно направлялись к воротам – на обязательную пробежку. Таточка печально стояла возле окна на кухне и грустно мне говорила: «Андрончик и Никиточек думают, что я ничего не вижу, а я все-все вижу. Сейчас, за воротами, мальчики разойдутся. Один побежит налево, другой направо. Господи, поскорей бы они помирились!»

Таточке не удалось сделать пианиста ни из моего деда, ни из сыновей. Оставалась последняя, слабая надежда – я. Возможно, она делала ставку на генетическое чудо: «Вдруг у Ольгушки выявятся техника Алексея и бескомплексность Юлика? Ей надо немедленно начинать заниматься музыкой!» Сказано – сделано. Тата решила подарить мне к семилетию пианино и взялась лично его выбрать. В тот день мы с мамой зашли за ней на Воровского, куда она на пару дней заехала. Присели «на дорожку» втроем в холле. Вдруг в Татиной комнате раздался грохот. Сорвалась с гвоздя и рухнула на кровать, на которой отдыхал Сергей Владимирович, картина Кончаловского «Поезд» (маленький поезд, весело мчащийся по рельсам среди зеленых лугов и цветущих яблонь). К счастью, Сергей Владимирович не пострадал и моментально сохмил: «Я п-попал п-под п-поезд!»



С Андроном и Никитой, 1970

Тата долго, тщательно выбирала инструмент в музыкальном магазине. Мягко брала аккорды красивыми руками, склоняла голову, сравнивая звук, наконец указала тросточкой на коричневое пианино: «Вот это и возьмем». Сердце у меня радостно забило: «Я буду играть!» В течение двух последующих недель, сразу после того, как натужно кряхтящие грузчики затащили пианино в столовую, а старенький настройщик его настроил, я просыпалась счастливой. Ощущение праздника наполняло сразу же, как только открывала глаза. Нужно было несколько секунд, чтобы вспомнить почему. В сознании ярко, как солнечный лучик, вспыхивала мысль: «Конечно! Пианино! У меня же теперь есть пианино!» И я бежала к нему и трогала желтоватые клавиши, и мечтала, что скоро, очень скоро начну играть. Совсем как Тата!

Мой учитель, сын старенькой «коммерсантки» Софьи Михайловны, время от времени приносившей маме заморские наряды, появился пасмурным днем: маленький, толстенький, пахнущий сладкой микстурой, кашляющий глубоким мокротным кашлем. Наиграл «Ах, вы сени, мои сени». Я повторила одним пальцем. Он закашлялся. В соседней комнате Софья Михайловна горячо говорила маме: «Мишенька – очень способный педагог. Вот увидите, как Оленька заиграет». Пристроив сына, Софья Михайловна испарилась. Он приходил два раза в неделю, играл «Сени», всегда только «Сени», кашлял. Через месяц я расплакалась. «Мася, я больше не хочу заниматься!» Мама сочувственно вздохнула: «Как хочешь, маленькая». Позднее выяснилось, что «Мишенька» никогда не был учителем музыки и почти не умел играть. Он работал официантом. Других преподавателей мама не искала. Расстроенное пианино печально молчало в углу столовой. Жалобно дребезжало, когда папа с друзьями

наигрывал песенки своей «салаговой» молодости. Через два года оно незаметно, как обиженный хозяевами хорошо воспитанный гость, исчезло. Больше Тата из внуков пианистов делать не пыталась...

В день Петров, пропахший свежим сеном,
Я с утра на луг пойду бродить,
Где цветы да травы по колено,
Где еще не начали косить.

Мне оттянет руку до плеча
Белый сноп смеющихся ромашек,
На которых – желтая печать
С массой черных, маленьких букашек.

По меже пройду ногой неловкой,
Там в овсах мечтают васильки,
Как свежи, как сини их головки,
Как прямы, как сухи стебельки.

Мой букет огромный, желто-белый
Подсиню цветами васильков.
Как синят на речке обмелелой
Наши бабы желтое белье.

Клевер красный, пчелами воспетый
Мой букет согреет, оживит,
Колокольчик нужен для букета.
Он лиловым звоном прозвенит.

В день Петров украшу стол широкий
Я последней пестротой полей.
Из села проселочной дорогой
Уж пошла ватага косарей.

Те школьные каникулы я, как обычно, проводила между папиной дачей в поселке писателей на Пахре и Татиным домом на Николиной. В доме, как всегда летом, толпились внуки, друзья, друзья детей, дети друзей. Появлялись знаменитости: Марчелло Мастрояни, старенький уже, спортивный Роберт Де Ниро, с которым Никита Сергеевич азартно играл в футбол на лужайке перед домом. Тата всех любезно принимала, поила кофе, говорила об искусстве. Для именитых гостей выносила большую скатерть и просила написать что-нибудь на память. Потом вышивала эти забавные надписи разноцветными нитками. В прихожей предупредительно прикрепила кнопками к двери четверостишие: «Когда бывает в доме людно, // Мне мыть полы ужасно трудно. // Чтоб дом не превращать в сарай, // О щетку ноги вытирай!» Иногда, чтобы отдохнуть от столпотворения, уходила погулять в лес и брала меня с собой. В тот день мы вышли довольно рано. Маленькая тропинка, начинавшаяся за калиткой, вывела на небольшую асфальтовую дорогу с бересклетом по обочинам. Мы прошли мимо дач Минцера и академика Энгельгардта, мимоobeliska в честь погибших в тех местах в Великую Отечественную солдат, сделанного николагорскими детьми по Татиной задумке, и углубились в сосновый бор. Опираясь на палочку, Тата, не спеша, любовно как-

то ступала по песчаной лесной дороге. Мы достаточно быстро для ее семидесяти пяти лет отошли километра на два и оказались в смешанном лесу. Меня в то время интересовала живность. Я зачитывалась книжками Даррелла, три раза в неделю бегала в Клуб юных натуралистов Московского зоопарка, дежурила возле клеток с животными и писала, одиннадцатилетняя, «научный» труд об иерархии дымчатых мангобеев в неволе. Зная, чем меня увлечь, Тата рассказывала про соболей в питомниках, которые, непонятно как, чувствуя приближающуюся «казнь», выгрызали себе на спинках мех. Экзекуцию откладывали на несколько недель, но, как только мех отрастал, зверьки снова себя уродовали. Меня эта история поразила. Несколько минут мы шли молча, а потом Тата негромко прочла свои стихи, посвященные мужественным зверюшкам.



В лесу на Николиной Горе, лето, 1962

Неожиданно дорогу преградила почти лежащая на земле тоненькая березка, согнутая упавшим деревом. «Бедненькая!» – сочувственно вскрикнула Таточка и бросилась ее высвобождать. Я, как могла, помогала. Березка сначала было выпрямилась, но потом снова грустно согнулась. Мы вернулись на следующий день с крепкой веревкой, подвязали ее и потом несколько лет рядом навешали. «Как там, интересно, наша березка? – мечтательно улыбаясь, спрашивала Таточка ближе к весне. – Надо нам будет ее проведать». И в первый же летний день мы отправлялись к «спасенной». С каждым годом шли все медленнее. Тата все сильнее опиралась на палочку, все неувереннее ступала своими старенькими тупоносими французскими туфельками с низким стоптанным каблуком по неровной лесной дороге. Очередной весной, произнеся привычные слова: «Как там, интересно, наша березка?» – вдруг печально закончила: «Мне, пожалуй, до нее уже не дойти».



Николина Гора, 1965

Старая, Тата мало менялась. Снисходительная к окружающим, требовательная к себе, она продолжала работать. Подгоняла себя, не давала спуску, не обращала внимания на хвори. Все недомогания объясняла магнитными бурями. По вечерам деловито доставала из шкафчика карельской березы батарею лекарств и задумчиво говорила: «Что бы мне сегодня принять, чтобы завтра проснуться?» Обычно выбор останавливался на паре-тройке таблеток от давления, сердцебиения и головокружения. Ранним утром спешила к письменному столу. Свою последнюю книгу, про кота-путешественника, решившего облазить все крыши мира, восьмидесятипятилетняя Таточка дописать не успела. Заболевшую, ее увезли в «кремлевку» в сентябре 1988 года. Она лежала в просторной палате. В большие окна грустно заглядывали желтеющие деревья. Тата попросила меня принести пилочку для ногтей: хотела привести руки в порядок (до последней минуты оставалась истинной женщиной). Придя на следующий день с маникюрным набором, я устроилась на краешке кровати. Тата с довольным видом положила набор в тумбочку, помолчала, смотря куда-то вдаль, за желтые деревья на фоне светло-голубого осеннего неба, а потом вдруг тихо сказала: «Ольгушка, если у тебя будет возможность уехать, уезжай». Я не поверила своим ушам.

Таточка, страстно любившая Россию, тосковавшая по никологорским далям даже в обожаемом ею Париже, благословляла меня на какой-то, еще гипотетический отъезд, будто заранее прощая. Разглядела ли она мою рыхлую инфантильность и глуповатую мечтатель-

ность и поняла, что российская жизнь не для меня, или каким-то загадочным образом открылась ей завеса будущего? Не знаю. Но слова Таточки оказались пророческими: спустя несколько лет я оказалась за границей. Через две недели Таты не стало. Маме, пришедшей незадолго до кончины, она серьезно, отрешенно сказала: «Я – не ваша»...



Николина Гора, 1985

Пустота, образовавшаяся после ее ухода, была не заполнима. Тоска пронзительна. Все дети, внуки и друзья, независимо от возраста, чувствовали себя заблудившимися в сумрачном лесу малышами. Плакали старые люди, убивалась Ева Ладыжнская: «Почему Наташенька ушла?! Я должна была уйти раньше: я на три года старше, почему Наташенька!?!» Тата относилась к породе людей, по которым с годами скучаешь все больше, вспоминаешь все чаще, и сердце каждый раз сжимается со свежей, щемящей болью. У Сент-Экзюпери есть грустный рассказ, где он, заблудившийся, без горючего, в своем маленьком самолетике над темным бескрайним морем, всю ночь держит курс на звезду, приняв ее за прибрежный маяк. Чем дальше, тем больше я сравниваю Тату с далеким, но очень ярким маячком. (Или с далекой, яркой звездой? Это, пожалуй, одно и то же, ибо в обоих случаях присутствует фактор равнения на недосыгаемость.) В сложных ситуациях, когда непонятно ни что делать, ни что говорить, произвольно возникает вопрос: «А как бы себя повела Тата? Что бы она сказала?» И пусть не всегда (образец слишком совершенен), но правильное решение приходит. Много лет назад, когда первая осень без Таты сменилась долгой холодной зимой, я посвятила ей стихи. Ими и закончу мой рассказ об этой удивительной женщине, умевшей всегда оставаться самой собой – искренней, вдумчивой, терпеливой, честной, одним словом, настоящей.

Ты ушла.

И телефон молчит,
Даже если в доме людно.
Ты ушла.
И кто-то говорит,
Что оттуда
Возвращаться трудно.
Ты ушла туда,
Где ясный свет,
Ты ушла туда,
Где вечно лето,
Шум деревьев
И густой рассвет.
Я не знаю,
Правильно ли это,
Что ушла.
И, горечь затая,
Все звоню к тебе,
Ища совета,
Все плутаю
В снегопадах января
С двухкопеечною стертою монетой.

«В память неизвестной героини...»

А. А. Овчинников

© А. А. Овчинников, 2008

Моя бабушка, Елизавета Петровна Сперанская, в девичестве Филатова, была очень колоритной особой с современной точки зрения и одновременно весьма типичным представителем своего времени и того круга людей, к которому она принадлежала. Я хорошо помню бабушку, когда та была уже в весьма преклонном возрасте. Сведения о более ранних годах ее жизни основаны на рассказах моей мамы, Натальи Георгиевны Сперанской, воспоминаниях самой бабушки, а также на множестве семейных фотографий с указанными датами на обороте. Некоторые факты биографии Елизаветы Петровны, довоенной жизни ее семьи на даче в поселке Деденево и в эвакуации во время войны почерпнуты мной из опубликованных мемуаров А. Н. Крылова и Н. Н. Семпер (Соколовой), из кратких рукописных воспоминаний моего деда, Георгия Несторовича Сперанского, и двоюродного брата бабушки Виктора Борисовича Филатова, а также из дачного дневника, который вела сама Елизавета Петровна, к сожалению, не очень регулярно.

Сначала немного истории. Елизавета Петровна родилась в декабре 1877 года в © А. А. Овчинников, 2008 имении своего отца, Петра Федоровича Филатова, в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии. Петр Федорович был небогатым помещиком, живущим с продаж зерна, выращенного на принадлежавших ему землях. Он имел медицинское образование, работал земским врачом и успешно занимался частной практикой. Петр Федорович много путешествовал. Его перу принадлежит весьма оригинальное описание путешествия по Персии (П. Ф. Филатов «Письма из Персии»; Одесса, 1909), которая в 19-м веке относительно редко посещалась европейцами. В 1903 году он работал врачом на строительстве Маньчжурской железной дороги на Хинганском перевале. Во время русско-японской войны получил место главного хирурга военно-полевого госпиталя в Мукдене под руководством главноуправляющего Красным Крестом князя Васильчикова, к которому, по утверждению А. Н. Крылова, попал благодаря общему с князем увлечению охотой и борзыми собаками. Мать бабушки, Вера Семеновна Филатова, была отличной хозяйкой и кулинаркой. У меня хранится составленное ею кулинарное руководство (В. С. Филатова «Новое пособие хозяйкам: Домашний стол и хозяйственные заготовки». Москва, 1910), в котором содержится немало полезных сведений и рецептов.



Ли́за Фи́латова в кругу семьи, 1888 (1889)

После того как родители моей бабушки, разорившись, были вынуждены продать свое имение, юная Лиза Филатова переехала в Москву и поступила в Московский Елисаветинский институт для благородных девиц, который окончила в 1895 году, получив специальность детской учительницы. В сохранившемся до наших дней аттестате с «отличными и весьма хорошими» отметками по Закону Божьему, русскому языку и словесности, французскому и немецкому языку, математике, географии и истории, естествоведению и педагогике» сказано, что «сверх того она обучалась рисованию, чистописанию, музыке, танцеванию, рукоделиям и домашнему хозяйству и при выпуске удостоена награждения книгой с надписью». В этот период она некоторое время жила в семье своего дяди, Нила Федоровича Филатова, который к тому времени был известнейшим детским врачом, основоположником отечественной педиатрии, автором множества учебников и монографий по детским болезням. В его семье она и познакомилась со своим будущим мужем, любимым учеником Нила Федоровича, Георгием Несторовичем Сперанским, вхожим в его дом, всегда полный молодежи. К золотой свадьбе, отпразднованной Сперанскими в 1948 году, двоюродный брат бабушки Виктор Борисович Филатов подарил юбилярам свои краткие воспоминания об их общей юности. Вот один из любопытных фрагментов: «Этот кружок молодежи создан в доме дорогого нам всем Нила

Федоровича Филатова – дяди Нила – и расцветал при его обаятельном, ласковом участии и под его руководством. Разница в возрасте несколько не препятствовала нашему общению с дядей Нилом. Он был молод душой, и мы чувствовали его членом нашего кружка молодежи. Одним из увлекательных занятий кружка было сочинение стихов. Каждый из членов кружка должен был выявить свое поэтическое дарование. Сборник стихов составлялся редакцией в составе Владимира Петровича (брата Елизаветы Петровны. – А. О.) и Всеволода Ниловича (сына Нила Федоровича. – А. О.) Филатовых. Наш юбиляр Георгий Несторович принимал активное участие в составлении сборника... направление которого должно было быть сатирическое. Участие Елизаветы Петровны в кружке молодежи было иное, чем

Гони (домашнее имя Георгия Несторовича. – *А. О.*): она не писала стихов, но вдохновляла членов кружка и пробуждала их поэтические дарования. Ее имя часто упоминается в произведениях “поэтов”, к ней обращены различные письма, стихотворения и приветствия». Редакция сборника оповещала читателей, что Елизавета Петровна «вышла замуж... и ждет разрешения новым поэтическим бутеном, который, как надеется редакция, любезно согласится в недалеком будущем украсить страницы сборника своим талантом, который составит из талантливости Георгия Сперанского и незаурядных поэтических задатков, имеющих у Елизаветы Петровны». Речь шла о вскоре родившейся первой дочери Сперанских Катюше, которую редакция приветствовала таким стихотворением:

«Лишь только вышла из яйца – зад лучше был лица. Теперь, что лицо, что зад – один разряд. А через год, глядишь, лицо уж с задом не сравнишь».



С дочерью Катей, 1900

Забегая вперед, скажу, что Екатерина Георгиевна впоследствии оправдала надежды друзей ее родителей, так как стала довольно известной писательницей, автором нескольких детективных романов на английском языке, изданных в Англии под псевдонимом Кэй Линн. Поженившись в 1898 году, Елизавета Петровна и Георгий Несторович сняли небольшую квартиру в Неопалимовском переулке, недалеко от Зубовской площади, где через год у них родилась дочь Екатерина (1899 г.), а затем сын Николай (1903 г.). Георгий Несторович вскоре приобрел известность как детский врач и, работая в клинике Н. Ф. Филатова, бывшей Хлудовской детской больницы (теперь детская клиника ММА им. П. М. Сеченова), имел к тому же и частную практику, что позволило ему в 1906 году купить у графа Головина участок

земли в 60 км от Москвы в поселке Деденево на станции Влахернская (ныне Турист) Савеловской железной дороги и построить там двухэтажную деревянную дачу, в которой семья Сперанских стала проводить каждое лето. В 1906 году у Елизаветы Петровны родился третий ребенок, сын Сергей, а в 1915-м младшая дочь Наталья, Наля, как ее звали дома, моя мать.

Первые годы нового века жизнь семьи Сперанских протекала достаточно спокойно и благополучно. После окончания ординатуры Георгий Несторович был оставлен в клинике Н. Ф. Филатова внештатным ассистентом и, кроме того, консультировал больных детей в акушерской клинике Н. М. Побединского. Позднее по приглашению известного акушера профессора А. Н. Рахманова заведовал отделением для новорожденных при Абрикосовском родильном доме (ныне родильный дом им. Н. К. Крупской). В молодости дед много занимался общественной работой, организовав первую в Москве детскую площадку и общедоступный каток для детей на Девичьем Поле. В 1912 году ему удалось на пожертвования частных лиц открыть на Большой Пресне лечебницу для детей грудного возраста (на 20 коек) вместе с женской консультацией и молочной кухней. Годом позже им была открыта консультация по уходу и вскармливанию грудных детей при Прохоровской (ныне Трехгорной) мануфактуре.



У киоска с литературой для родителей на выставке в Доме грудного ребенка, 1913

Бабушка по мере сил помогала ему. Она наладила работу яслей при Прохоровской фабрике. Сохранилась фотография Елизаветы Петровны за прилавком благотворительного базара на выставке в Доме грудного ребенка в 1913 году, как к тому времени стала называться лечебница на Пресне. Вся выручка от базара шла на нужды этой лечебницы.

В период отпусков дед и бабушка совершили ряд путешествий на пароходе по Волге и Черному морю. Но основное время проводили на даче во Влахернской. Летом там собиралось много друзей, тогда еще молодых людей. Чаше других там жилали старший брат деда – известный филолог академик Михаил Несторович Сперанский, репрессированный в 1934

году, и родной брат бабушки Владимир Петрович Филатов, в то время начинающий офтальмолог. По соседству построил дачу ближайший приятель деда, акушер Николай Михайлович Побединский, в семье которого тоже было немало молодежи. Иногда гостей собиралось так много, что хозяевам негде было ночевать. «Лиза, а где же мне спать сегодня?» – спрашивал дед. «Ничего, Гоня, возьми плед и пойдешь на сеновал», – отвечала бабушка. Почти одновременно с домом дед сделал на участке теннисный корт, который скоро стал центром притяжения всех гостей и соседей. Дед неплохо играл в теннис. Сохранилась фотография Нила Федоровича Филатова, подаренная им деду 13 октября 1894 года, с надписью «Знаменитому лаун-теннисисту от достойного соперника». Говорят, что и бабушка в молодости неплохо играла в теннис, но на моей памяти она ни разу не брала в руки ракетку, хотя занятия этим видом спорта своих детей поощряла.

Во время Первой мировой войны мой дед, в порядке гражданской мобилизации, стал работать в госпитале для раненых, а лечебница для грудных детей была превращена в больницу для детей-сирот и беженцев с западных окраин. Как вспоминал Георгий Несторович, «были установлены дежурства на Брестском (ныне Белорусском) вокзале, где приходилось проводить целые дни, встречая эшелоны беженцев и отбирая детей для помещения в больницу. Дом грудного ребенка был переполнен сиротами и беженцами. В этой работе горячее участие принимала и Елизавета Петровна». Сам Георгий Несторович не был призван в армию. Его сыновья были еще детьми, и трагедии 1914–1916 годов непосредственно не коснулись семьи Сперанских, хотя война существенно изменила распорядок их жизни. Зато в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Сперанские хлебнули лиха сполна. В 1918 году, спасаясь от голода и холода, Георгий Несторович с семьей переехал из Москвы сначала в Ялту, где был вынужден работать холодным сапожником на набережной, а потом – в Одессу к брату Елизаветы Петровны, Владимиру Петровичу Филатову, который перед Первой мировой войной обосновался в этом городе и к тому времени стал известным специалистом по глазным болезням. Там дед нашел временную работу по медицинской специальности, однако жизнь была очень голодной и трудной. В Одессе много раз менялась власть, переходя от белых к красным и обратно.



С дочерью Налей и сыном Сергеем, 1925

В это время Сперанские потеряли двух своих старших детей: сначала 16-летний гимназист Николай попал в облаву и был расстрелян большевиками, а затем 19-летняя красавица Екатерина уехала с рыбаками-контрабандистами в Константинополь за продуктами и пропала. В Турции она, оказавшись без денег и документов, встретила молодого шотландского аристократа Джона Мак Роби – офицера английского экспедиционного корпуса, который г, попилен в нее с первого взгляда и в трюме британского военного судна тайно увез в Англию. Там она, представившись его родственником французенкой (французский язык она знала с раннего детства), вышла за него замуж и родила сына. Почти два года дед и бабушка оплакивали свою дочь, будучи уверены, что и она погибла, и только в 1920 году Екатерина смогла связаться со своими родителями и сообщить, что жива. 1921 году она приехала к своей матери в Москву рожать второго сына, после чего снова уехала в Англию. В предвоенные годы еще раз приезжала в Москву с обоими детьми, а затем был долгий, почти 40-летний перерыв в их общении.

Вернулись Сперанские в Москву в 1921 году с двумя младшими детьми – Сергеем и Налей, как называли в детстве мою мать. В годы советской власти дед стал активно заниматься организацией медицинской помощи матери и ребенку, в чем ему оказывали помощь нарком здравоохранения Н. А. Семашко и особенно В. П. Лебедева, заведующая Отделом охраны материнства и младенчества при Наркомате здравоохранения. В 1923 году он стал директором первого в нашей стране Института охраны матери и ребенка, в последующем Института педиатрии РАМН, а вскоре и главным консультантом кремлевской больницы, т. н. «лечсанупра Кремля», и лечил детей всех кремлевских знаменитостей.

Как ни странно, дача Сперанских на платформе Влахернская сохранилась, хотя соседняя дача Побединских сгорела. По ходатайству наркома здравоохранения Н. А. Семашко дача была возвращена их владельцам, хотя от части участка дед вынужден был отка-

заться. И вновь началась дачная жизнь с визитами старых и новых друзей, многие из которых были весьма известными в советской России. Писательница, переводчица и поэтесса Татьяна Львовна Щепкина-Куперник; знаменитый офтальмолог академик Владимир Петрович Филатов, каждое лето гостивший у своей сестры; кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов, приходившийся бабушке троюродным братом; академик Петр Леонидович Капица, женатый на дочери А. Н. Крылова Анне Алексеевне; известный хирург Сергей Сергеевич Юдин; знаменитый художник Михаил Васильевич Нестеров; композитор Сергей Никифорович Василенко, купивший дачу недалеко от Сперанских; архитектор Александр Васильевич Власов, в последующем главный архитектор Москвы, живший по соседству, – все они были частыми гостями Сперанских. Часть принадлежавшего ему участка дед отдал своему двоюродному брату Вениамину Михайловичу Сперанскому, где с помощью деда тот построил небольшой дом. Старший сын В. М. Сперанского Евгений работал в театре кукол у Сергея Образцова, написал много пьес, поставленных в этом театре, и в последующем стал народным артистом СССР, членом Союза советских писателей.

Елизавета Петровна очень увлекалась садоводством и разводила множество цветов. В саду росли розы, гелиотроп, душистый табак, левкой, львиный зев, астры, настурции и пионы разных цветов, маки, желтые лилии, которые до сих пор исправно зацветают вдоль дорожек. Больше всего бабушка любила душистый горошек, который она сажала каждую весну и подвязывала к специальной проволочной сетке, натянутой между деревянными столбами. Любимица бабушки, ручная сорока Галя, ходила вслед за ней и развязывала узелки на цветах. Не забывали и огород, который помогал кормить семью и гостей. Начиная с 1926 по 1947 год, правда, с перерывами, Елизавета Петровна вела своеобразный дневник, в котором отражались сельскохозяйственные работы и некоторые семейные события. Приведу выдержки из него. «1926 год. 14 августа – пересажена белая малина... на ту часть огорода против дорожки, которая предназначена для новых посадок малины.



Г. Н. и Е. П. Сперанские, 1925

В тот же день украли лодку. Заявлено в милицию. 22 августа. Посажена черная смородина... рядом с грядкой клубники. 25 августа. Пересажено 5 кустов крыжовника от Побединских. 5 сентября. Посажена на будущий год капуста: ранняя, брюссельская и красная. 1927 год. 7 апреля. Переехала я с Налей и мальчиками (в 1927 году приехали погостить из Англии внуки Сперанских – 4-летний Джордж (Додик) и 7-летний Никольс. – *А. О.*). 15 апреля. Весна теплая, разлив небольшой. Парник готов. Посеяла в парник цветную капусту. 8 мая – рождение На-ли. Ясный день, но холодный северный ветер. Сажали яблони, привезенные из-под Москвы из Ново-Гиреева... Ели первую редиску из парника. Цветут примулы и анютины глазки. 1 июня. Огород засеян весь. Погода чудесная, ночи теплые – 13–15 градусов. Наля купалась в первый раз. В воде 15 градусов. Кончился съезд педиатров, Гоня проехал поздно вечером до Дмитрова: проспал, оттуда шел пешком всю ночь...»



С дочерью Налей и внуками Никольсом и Джорджем, 1929

Подросли дети. Семья понемногу увеличивалась. Сын Сергей обучился на инженера и привел в семью очаровательную черноглазую Киру, дочь известного хирурга Петра Ивановича Постникова, до революции совладельца довольно популярной в Москве частной лечебницы Постникова и Сумарокова. Кира Петровна прекрасно играла в теннис и вообще была заводилой среди молодежи, организовывая дальние прогулки и походы за грибами, в которых принимали участие и старшие Сперанские. В 1933 году у Сергея и Киры родилась дочь Марина, все детство которой прошло на даче в Туристе. Младшая дочь Сперанских Наля (моя мать), выросшая на корте, также была очень сильной теннисисткой, играла по первому разряду и даже завоевывала призы на профсоюзных соревнованиях. Она вышла замуж за высокого красивого атлета, архитектора Адриана Овчинникова, мастера спорта, одного из сильнейших горнолыжников нашей страны. Незадолго до войны, в декабре 1937 года, у них

родился я и в возрасте двух с половиной месяцев был уже привезен на дачу, где свои первые шаги, как и все дети и внуки Сперанских, сделал по теннисному корту.

Участок располагался на берегу довольно глубокой и заросшей плакучими ивами речки Икши, с чистым каменистым дном и родниковой водой, по которой дед с сыном Сергеем плавали на лодке до самой Волги. В 1934–1935 годах во время строительства канала Москва – Волга в Икшу начали сливать пульпу от гидромониторов, которыми размывали грунт на трассе канала, и речка заилилась и обмелела. Погибли старые ивы, пересохли родники, питавшие речку, и в настоящее время она превратилась в грязный ручеек, заросший осокой и заваленный различным хламом. Каждый год в начале лета я пытаюсь прочистить хотя бы прилегающую к нам часть реки и вытаскиваю из нее по несколько мешков бутылок и банок, но обитатели гаражей, во множестве разросшихся на противоположном берегу реки рядом с фабричным поселком, засоряют речку значительно быстрее, чем мне удастся ее вычистить. В тот же период невдалеке от нашей дачи стали брать щебень для строительства канала, и карьер стал быстро и неумолимо приближаться к участку Сперанских. Уже был скрыт высокий речной берег, где когда-то стояла дача Побединских и наверняка произошла бы катастрофа, если бы дед, посоветовавшись с Елизаветой Петровной, не пошел на прием к всевластному министру НКВД Ягоде и не упробил его остановить продвижение карьера. И карьер был остановлен точно по забору участка Сперанских. Непостижимо, но факт есть факт!

К Сперанским часто приходила играть в теннис писательница Наталья Семпер (Соколова), которая в своих воспоминаниях «Портреты и пейзажи» (журнал «Дружба народов». 1997. № 2) так описала их дачу и ее обитателей: «...От станции две минуты и с рельсов налево.



С внуком Алешей, 1940

За калиткой дорожка к светло-серому двухэтажному дому с двумя большими балконами внизу и наверху. Участок окружен высокими деревьями, слева стена из старых елей. Сад спускается к Икше, в нем корт ниже дома. Сперанские поселились здесь раньше всех – как только открылась железная дорога (в 1906 году). Воображаю, какой был рай тогда... Глава семьи Георгий Несторович – известный всей Москве педиатр, его жена Елизавета Петровна – сестра знаменитого окулиста В. П. Филатова. Трое детей: старшая дочь Катя живет в Англии, пишет романы под псевдонимом Кэй Линн; сын Сережа – молодой инженер, он

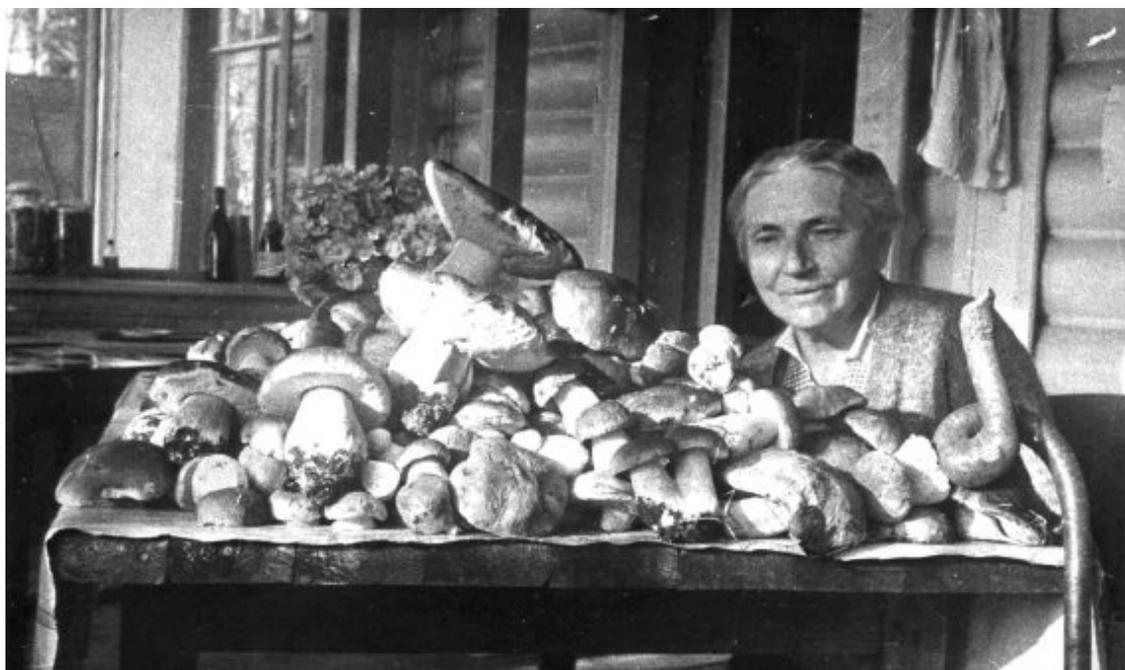
женат на Кире Постниковой, дочери не менее известного хирурга Постникова и О. П. Сорокоумовской (из бывших купцов-миллионеров); младшая дочь Наля – студентка геолого-разведочного института. В семье принят английский стиль, английский язык и светские манеры (я не совсем с этим согласен: бабушка никогда в Англии не бывала, английского языка не знала. Если и любила что-то английское, то только платья и кофточки в английском стиле.



На даче, 1932

Впрочем, что было до войны, я помнить не могу. – А. О.). Елизавета Петровна сама напоминает Бетси Тротвуд из “Давида Копперфильда”: среднего роста, крепкая, строговатая леди... в рабочем платье, в садовых перчатках без пальцев; в корзинке, висящей на локте, лежат ножницы, секатор, бечевка – она все утро в саду, ухаживает за цветами. Ее любимое детище – породистый душистый горошек, арка-аллея из вьющихся стеблей с крупными, нежно благоухающими цветами всех оттенков радуги. А по бокам лестницы на балкон тремя уступами пламенеют в ящиках замечательные настурции: от огненно-красных и ярко-оранжевых до ярко-желтых. Не все допускаются на балкон и в дом, знакомая молодежь идет прямо на площадку, и не всякий может на ней играть, сама игра лучше и строже, чем у Толоконниковых и Невских (в соседнем дачном поселке за каналом – Свистухе. – А. О.), – здесь не принято кидаться как попало, стараются добиться мастерства, выигрыша, успеха. Лучше всех играет в теннис Кира – черноволосая, черноглазая, всегда оживленная, легкая, с огоньком: такой мне представляется Наташа Ростова. Наля Сперанская – беленькая, стриженная, современная... По пути на площадку я мимоходом заглядываю направо, на высокий застекленный балкон, где бывают за столом недостижимые люди: художник Нестеров, ком-

позитор Василенко, хирурги Постников и Юдин, писательница Щепкина-Куперник... Что влечет их сюда? Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. Живя постоянно в Одессе, занимаясь научной работой, руководя прославленной клиникой, он приезжает летом отдыхать к сестре, потому что любит нашу Влахернскую и своих близких...» Начало Отечественной войны Сперанские встретили на даче. Сперва казалось, что немцы никогда не дойдут до Москвы и война будет проходить где-то на западе, как это было в Первую мировую. Но уже к концу июля 41-го до обитателей Туриста стали доноситься звуки отдаленной артиллерийской канонады, а в небе стали появляться немецкие бомбардировщики, пролетавшие бомбить Москву. Стало ясно, что надо срочно уезжать. К тому времени молодые мужчины семьи Сперанских уже были мобилизованы в армию: мой отец, окончив авиационное училище, стал летчиком, а дядя Сергей попал в инженерные войска. Дед получил назначение в г. Молотов (бывшую и теперешнюю Пермь), и в сентябре 41 – го вместе с женой и детьми М. Н. Побединского Колей и Марой, с 12-летним сыном В. П. Филатова Сережей и моей двоюродной сестрой Мариной Сперанской мы уехали на восток, сначала на поезде до г. Горького, а потом на барже вниз по Волге и затем вверх по Каме.



После похода за грибами, 1940

Жизнь в Молотове была ужасной. Дед долго не мог найти ночлега, несколько ночей провели на вокзале. В своих воспоминаниях он пишет: «Найденная, в конце концов, комната в разваливающейся избе требовала большого ремонта: пришлось делать рамы, вставлять стекла, забивать стены... Когда начались морозы, там так было холодно полом, что на стенах внизу стал намерзать лед. Пришлось переехать в еще худшее, грязное, более тесное помещение». За обедом ходили «в столовую... на другом конце города. Этот обед состоял из болтушки с небольшой добавкой крупы, или макарон, или гороха, а на второе полторы оладьи или в лучшем случае два яйца. Впрочем, иногда бывала каша из рубленой пшеницы с каким-то маслом. Это давалось в столовой для научных работников, и получал это только я. Иждивенцы не получали ничего». А иждивенцев у деда было ни много ни мало – шесть человек! Весной 42-го года заболели пневмонией Елизавета Петровна и Наля. «Это был кошмарный период жизни в Молотове, – вспоминал дед. – Я думал, что потеряю Лизу, очень истощенную и ослабленную предыдущей жизнью. Но, по счастью, все обошлось благополучно...

благодаря сульфидину». Сам я плохо помню жизнь в эвакуации (мне было тогда 4 года), но отдельные эпизоды в памяти сохранились. Помню подвал, в котором мы жили, и стенку под одеялом, покрытую пятнами наледи, помню страх, когда пропала моя мать: она отправилась за продуктами в деревню и заблудилась, ее привезли на третий день всю обмороженную. Были радостные моменты: снежная горка во дворе, мешок с неочищенным рисом, который привез из Ташкента от В. П. Филатова какой-то его знакомый. Этот мешок риса, можно сказать, спас нам жизнь, и мы ели его в течение всей голодной зимы 1941—42 годов.

В октябре 1942 года Сперанские вернулись в Москву, а мы с мамой тремя месяцами раньше с множественными пересадками поехали в Ярославль, где в управлении дальней авиации служил мой отец, переведенный туда из действующей армии. По дороге с нами случился неприятный эпизод, который, к счастью, окончился благополучно. Выезжали из Молотова мы в теплушке – товарном вагоне, в котором перевозили и скот, и стройматериалы, а для людей там были устроены нары из досок и стояла печка-буржуйка, дрова для которой добывали все, кто как мог, во время стоянок. Где-то посередине пути моя мать встретила на станции знакомого офицера, ехавшего в том же поезде, но в пассажирском, кажется, даже купированном вагоне. Он сказал, что у них есть одно свободное место, и договорился с проводником, чтобы женщине с ребенком разрешили туда перебраться. На каком-то полустанке мама отнесла меня, уже довольно тяжелого мальчишку, в этот вагон, а затем побежала по путям обратно за вещами. В этот момент поезд тронулся. Маму успели на ходу втащить в нашу теплушку, а я в течение трех часов ехал один с незнакомыми мне людьми и ужасно боялся. Наконец, на очередной остановке мама, к моей невероятной радости, наконец-то появилась. И больше мы не расставались.

Вернувшись в Москву, дед решил съездить на дачу. Он вспоминает: «18 октября 42-го года. Был на даче. Опять новые, небывалые картины. Вышел из дому в 5 ч утра, чтобы попасть на поезд 7 ч 02 мин. Полная темнота. Троллейбус не ходит. Дошел до трамвая, с пересадкой добрался до вокзала. Частый, довольно сильный дождь. Стоянье под дождем за билетом в огромной очереди. Все нервничают, бранятся между собой. Несомненно, можно отметить озверение у публики, собирающейся толпой. Эта примитивная борьба за существование, которой теперь наполнена жизнь, к которой устремлены все интересы, заставляет во всяком соседе видеть врага, который раньше тебя ухватит кусок, раньше тебя получит билет и т. д. “Оттащи эту девчонку, что она лезет без очереди... Военный, у вас есть своя очередь, зачем нам мешать...” Сейчас самые важные люди – это милицейские. Они решают все и всем распоряжаются. И их масса. Давка в вагоне туда и оттуда была отчаянная. Нельзя ездить по воскресеньям. Плохи, по-видимому, у нас дела на фронте, но газетные сообщения абсолютно не достоверны, что создает еще худшее, какое-то гнетущее настроение... Нервы напряжены, поэтому у всех амплитуда колебаний настроения громадная, люди легко переходят от уныния к радости и опять – бух в яму отчаяния. Кульминационным пунктом такого состояния является паника... На даче с удовольствием покопал землю и поделал кое-какие дела, но все вертится в голове: а может быть, это я зря делаю, не придется этим пользоваться... Если так дать себе распусться, то можно действительно до меланхолии».

Дача Сперанских пережила и вторую ужасную войну. Немецкие войска лишь немного не дошли до Туриста. Линия фронта находилась всего в двух километрах, и с крыши дома были видны передовые позиции немцев. По участку прошел противотанковый ров и было выкопано два ряда траншей. В доме размещался штаб полка, оборонявшего передовые позиции Красной армии. Но дом сохранился. Бесспорно, в этом была большая заслуга дворника Сперанских Николая Давыдовича, отставного солдата с перекошенной после контузии в Первую мировую войну физиономией. Он остался в доме и прожил там все страшные военные годы.

Постепенно фронт продвигался на запад, и жизнь понемногу налаживалась. В марте 1943 года Елизавета Петровна ездила к Нале и Адриану в Ярославль. Поезда туда не ходили, и добираться пришлось на перекладных. «Оттуда я привезла нового члена семьи, – пишет она в дачном дневнике, – Вову Предтеченского (14-летнего внука дедушкиного покойного брата Николая Несторовича. Родители Вовы погибли во время Ленинградской блокады, и он два года жил у Сперанских, пока не поступил в Ленинградское мореходное училище. – А. О.). С 25 апреля мы с ним зажили на даче.



Дана Сперанских в Деденеве, зима, 1944

Он в школе, я в саду. ...6 мая Нале послан пропуск в Москву. От Сержи был боец, привез муки... 14 мая. Несколько дней стоит чудная погода, но дождь необходим. Посадила верхушки картофеля на нижнем огороде. Взошли морковь, редис, салат, репа. В ящиках взошли настурция, лиловая одесская фасоль, помидоры. В парнике – сахарная свекла, редис, укроп. Часть сахарной свеклы высадила на грядки. Сахарную свеклу сажаю в первый раз. Очень у меня болят руки от подагры и очень сильная экзема... 6 июня приехали в Москву Наля, Адриан и Алеша!!! О, счастье для меня!.. 9 июня приехали на дачу с Алешей и Налей. 11 июня приехал Адриан в первый раз за войну. Погода чудная. 13-го утром Адя уехал. Печально».

Итак, мы с мамой вернулись в Москву и стали жить на даче. В конце лета 1943 года случилось событие, которое произвело на меня большое впечатление и запомнилось на всю жизнь. За время войны все уже привыкли к звуку пролетающих высоко в небе военных самолетов. Но вдруг небольшой военный самолет несколько раз пронесся на малой высоте прямо над нашим дачным домом, делая разворот над соседним селом на горе. Все ужасно всполошились: ведь война еще не кончилась, а неподалеку находился важный охраняемый объект – железнодорожный мост через канал. Переполох достиг апогея, когда во время третьего захода от самолета отделился какой-то небольшой предмет и упал на крышу соседского дома. Все с ужасом ждали взрыва, и только бабушка сказала спокойно: «Это прилетел Адриан. Только он может совершить такое хулиганство». Вскоре прибежала соседка и при-

несла мешочек с песком и запиской от... Адриана. Он прилетел на один день в Москву и оповещал об этом мою мать, напугав всю округу. Мама тут же бросилась на станцию и, сев на ближайший поезд, успела с ним повидаться. Я не стал бы рассказывать об этом эпизоде, если бы не реакция бабушки, которая к тому времени уже хорошо изучила характер своего зятя. Далее вновь дневник деда: «*7 сентября 1943 года*. Наши войска на Южном фронте за эти дни очень успешно продвигаются вперед, освобождая города и населенные пункты и уничтожая войска фашистов. В сегодняшней сводке сообщается, что с 5 июля по 5 сентября немцы потеряли убитыми 400 с лишком тысяч человек, 38 600 пленными, ранеными около миллиона! Но ведь и наших-то погибло не меньше. Жутко думать... Донбасс уже почти весь в наших руках. Приближаемся к Басмачу, обошли Брянск. Имеется уже Смоленское направление. Мы, вероятно, в километрах 30–35 от Смоленска. А вот под Ленинградом без движения. Его продолжают обстреливать немцы из орудий и теперь шрапнелью, что дает много жертв среди населения. Сережа давно не писал. Мы его все ждали в Москву. Между 20 и 25 августа он, по сообщению бывшего здесь его начальника, должен был приехать. Но тот прислал своей жене письмо от 19 августа, что неожиданно их расформировали и отправляют неизвестно куда на фронт. Сейчас мы находимся совершенно в неизвестности о Сереже...

3 ноября 1943 года. Какая масса событий совершается в переживаемое нами время в относительно короткий период! За 2 месяца, и то неполных, с моей предыдущей записи наши войска не только заняли Смоленск, Брянск, но и массу других городов. Всякий раз при занятии более или менее значительного города Москва “салютует” в определенный час 12—20-ю залпами из 120–240 орудий. Одновременно с этим из различных мест города при каждом залпе пускают массу ярких разноцветных римских свеч. Зрелище очень красивое, особенно если смотреть с крыши нашего высокого дома или с балконов верхних квартир... От Сережи за эти дни не только получили извещение, но даже известие о том, что он женился (перед самой войной Сергей развелся со своей первой женой Кирой. – А. О.). И не только извещение, но и приезд сначала его жены Александры Филипповны (урожденной Казаковой), а затем и его самого. 31 октября он уехал, пробыв здесь около 10 дней, а Шура осталась. Нельзя не порадоваться за Сережу, что он начал жизнь снова более полную. Он так любит детей, а Шура, по-видимому, подходящий для него человек, очень простая, без лomanья. Она из простой рабочей семьи, живущей в г. Боровичи Ленинградской области. Отец ее старший кузнец на паровом молоте в большом комбинате. Поживем – увидим. Во всяком случае, это неплохой шаг. Если удастся перетащить Сережу в Москву, то наша маленькая квартира, особенно с приездом Адриана и его демобилизацией, будет полным полно. Возвращения Адриана ждем в самом непродолжительном времени...»

В начале 1944 года мой отец был вызван из Ярославля в Бакуриани, где проводился первый после 1940 года чемпионат СССР по горнолыжному спорту, на который были командированы из армии многие, оставшиеся в живых горнолыжники. После этого была еще одна спортивная поездка в Свердловск. Вернувшись оттуда, отец заболел плевритом, и у него был обнаружен туберкулез легких. Дед так описывает это в своем дневнике: «*23 апреля 1945 года*. Давно не писал в этой тетради; не могу объяснить почему... Поводом к тому, что я снова взялся за записи, является чрезвычайный факт: сегодня наши войска вошли в... Берлин! Первым вошел Жуков (1-я Белорусская армия). Второй салют Коневу (1-я Украинская армия). Сейчас, в 10 ч 30 мин, жду третьего салюта. Он оказался по поводу взятия войсками 4-го Украинского фронта города в Чехословакии... В нашей семье крупным и неприятным событием за это время надо считать открытие туберкулезного процесса у Адриана. Он большого роста, сильный молодой человек 28 лет, мастер спорта и притом хорошего спорта – лыжник, специалист по т. н. слалому и скоростному спуску, один из первых по Союзу. Ездил в Бакуриани на состязания, там плохо питался. По приезде его направили на состязания в Свердловск. По возвращении оттуда он уже кашлял. Это было в апреле 1944 года. Прожил

два дня на даче, где в это время уже жили Лиза с Алешей. Там он себя чувствовал больным. По приезде в Москву, когда кашель у него усилился, померил температуру, оказалось 38 °С. Его посмотрела одна врачиха, сказала, что бронхит, посмотрела другая, сказала, что плеврит. Я приехал с дачи, послушал его, и мне не понравилось состояние его левого легкого. Я потащил его на рентген к себе в клинику, сделал анализ мокроты. На рентгене оказалась каверна под левой ключицей, а в мокроте ВК. Поместили его в госпиталь. Я очень болезненно отнесся к этому событию, будучи врачом, понимаю всю тяжесть его. Мне очень жалко было видеть, особенно в условиях госпиталя для туберкулезных, Адриана, которого видел постоянно бодрым, сильным, энергичным. Сразу он потерял свое лицо и подравнялся к общему туберкулезному уровню. Жалко и страшно за Налью и Алешку: контакт. После выписки из госпиталя, где ему наложили пнеймоторакс, пришлось направить его в тубинститут, где делали пережигание спаек, мешавших спадению каверны. После этого, когда мы все немало поволновались, как будто наступило затишье. Температура нормальная, мокроты почти нет. Пробыл он в санатории около полутора месяцев и вернулся к нам на квартиру. От военной службы его освободили. Уж не знаешь, что лучше – ранение на войне или такое вот заболевание легкого...» Дед приложил немало усилий, чтобы достать в «кремлевке» остродефицитное лекарство – только что появившийся стрептомицин, который и спас жизнь моему отцу.

Дальше опять из бабушкиного дневника: «*Март 1945 года.* 2-го у Сережи родился сын. Назвали Николаем. 16-го я приехала на дачу, +2. 17-го приехал Гоня, и призвали печника, чтобы сделал печку в столовой. Начал 18-го за 800 рублей. По утрам мороз —15, днем тепло.

20-го печка кончена, топится очень хорошо, сразу в столовой стало +15 по С. 24-го приехали Алеша, щенок и Марина на каникулы. Приехали на автомобиле. Погода чудная, в тени +7. Потекли ручьи. Грачи прилетели... *Май 1945 года.*

2-го Берлин взят! Погода хорошая, тепло, хотя и мало солнца. Гоня здесь был 6 дней. 7-го мая в 2 ч 41 мин дня сдалась Германия всем союзникам! Это я услышала по коротким волнам из Англии в 5 часов вечера. 9-го мая – конец войне!!! Объявили ночью после капитуляции Германии в Берлине маршалу Жукову. Вот истинная радость и настоящий праздник! ...*Апрель 1946 года.* 8-го – Овчинниковы уехали в Одессу. Я переехала на дачу. 12-го – погода холодная. Привезла щенка Мая. 13-го – получили письмо от Кати. 20-го – Гоня уехал в Ригу. *Май 1946 года.* 15-го – утром +7, туман. Щенок спаниель очень красив и мил. Жду с нетерпением поездки в Одессу. ...*Март 1947 года.* С 23-го по 31-е были каникулы. Были после Узкого Гоня, я, Марина и Алеша. Погода теплая, снег тает, но его такая масса, что не запомнит никто. Грачи прилетели 27-го. Дети и Гоня уехали 31-го и приехал Адриан после 8 месяцев пребывания в тубинституте. Я осталась с ним...»

На этом бабушкин дневник кончается. В нем отразились и глобальные события того времени – окончание войны, – и мелкие, семейные происшествия, и наблюдения за погодой, и садово-огородные дела. И все одинаково кратко и лаконично. В этом вся бабушка – внутренняя сдержанность, ни намека на сентиментальность. Слишком тяжелые переживания выпали на ее долю.

Летом 1946 года дед с бабушкой поехали в Одессу к В. П. Филатову и взяли меня с собой. Оттуда мы совершили поездку на большом морском лайнере «Россия» до Сухуми и обратно. Этот корабль был до войны личной яхтой Гитлера, носил его имя и был передан нам по репатриации. Поездка оказалась не очень удачной. Дело в том, что по протекции академика Филатова, который был к тому времени всемирно знаменит и необычайно популярен в Одессе, нам достали билеты в шикарные каюты люкс на верхней палубе, где, как говорили, бывал Гитлер. И вот в каждом порту, где останавливалась «Россия» и где она брала на борт экскурсантов, огромные толпы любопытных стучались к нам в двери и окна, выходившие на палубу, и просились посмотреть каюты Гитлера. Кроме того, во время про-

должительных стоянок корабль катал по морю всех желающих, и посетители заполняли все палубы и рестораны и потребляли невероятное количество горячительных напитков с неизбежными последующими беспорядками и драками. Поэтому мы старались на все время стоянок сойти на берег и там, где это было возможным, гуляли по набережной или ездили на экскурсии. В Сочи я упрямил бабушку поехать покататься на глассере. Дед, который к этому времени все больше и больше раздражался от переполнявшей корабль толпы, не был этим доволен, но согласился. И вот, помогая бабушке надеть туфли, я, балуясь, стукнул ее ладонью по подошве. Дед тут же взорвался и заорал на меня, как я смею бить старую женщину по ногам. Бабушка постепенно его успокоила, но ни о каких глассерах речи уже быть не могло. Такие вспышки неожиданного гнева у деда бывали неоднократно, и бабушка всегда становилась буфером, защищая нас, детей, и успокаивая деда. В конечном счете мы, не доехав до цели нашего путешествия – Батуми, сошли в Сухуми, сели на другой пароход «Грузию» и уже без приключений, в обычной каюте, вернулись в Одессу.

В послевоенные годы Елизавета Петровна стала часто болеть. Постоянно болели суставы, почти ежегодно случались воспаления легких, прогрессировала глаукома. Тем не менее она стойко переносила недуги. В начале 50-х дед с бабушкой несколько лет подряд проводили летние месяцы на Рижском взморье в санатории Академии медицинских наук в Лиелупе. Каждый раз брали с собой внуков. Иногда приезжал Сережа

Филатов, бывали там и мои родители. Короче, собиралась почти вся семья. Мы там назывались «колхоз Сперанского». По утрам, перед завтраком, дед ходил далеко по пляжу и каждый день купался, регулярно измеряя при этом температуру воды. Бабушка в основном сидела на скамейке в саду и беседовала с многочисленными знакомыми. Она никогда не купалась, но иногда добиралась с помощью деда до прибрежных дюн и сидела там, на плече, среди сосен. На Рижском взморье ей очень нравилось. Правда, мы иногда доставляли ей немало хлопот. Как-то раз мои родители, взяв меня и Марину, наняли в яхт-клубе на реке Лиелупа яхту и отправились кататься к морю. До моря мы не доплыли, так как прекратился ветер, и мы несколько часов болтались в устье реки. Когда мы к вечеру наконец вернулись в яхт-клуб, на берегу стоял санаторский автобус с шофером Сашей, и в автобусе сидела бабушка, мрачнее тучи. Хотя мы и не были виноваты в отсутствии ветра, досталось всем за то, что заставили ее так волноваться.

В Турист по-прежнему приезжало много гостей. В разные послевоенные годы здесь бывали многие: тогда еще мало кому известный пианист Святослав Рихтер, приехавший к Сперанским с рекомендательным письмом от В. П. Филатова из Одессы, авиаконструкторы Андрей Николаевич Туполев с супругой Юлией Андреевной, очень дружившие с дедом и бабушкой, и Владимир Михайлович Мясичев, наш сосед по московскому дому на улице Чкалова. Дочка Мясичева Маша некоторое время жила у нас на даче, всегда переполненной детьми и молодежью. Приезжал Ираклий

Андроников. Между прочим, он рассказывал, что в имении Лужиных Григорове, расположенном недалеко от нашей дачи, в свое время бывал М. Ю. Лермонтов. Много народу из соседних домов и дач приходило к нам играть в теннис. Художник Карпов, академик Долежалъ, профессор Раговин, директор Института нейрохирургии Борис Борисович Егоров были постоянными игроками на корте. С сыном Б. Б. Егорова Борей, будущим космонавтом, мы часто играли в войну в старом карьере на месте дачи Побединских. Много гостей приходило от наших соседей «Василенок» – сам Сергей Никифорович с женой Татьяной Алексеевной и ее дочерью Еленой Сергеевной, полной веселой женщиной, обладавшей особым даром рассказчицы и незаурядным юмором; известный литературовед профессор Федор Александрович Петровский; князь Владимир Николаевич Долгорукий, который после войны инкогнито жил у «Василенок» и писал детские рассказы под псевдонимом Владимиров; арестованный в 1933 году и вернувшийся из ссылки в 1951 году географ и биолог профессор Павел

Николаевич Каптерев; народная артистка СССР певица Ксения Держинская, с ее сыном Кириллом и его женой Таней Каптеревой, впоследствии известным искусствоведом, академиком, дружили мои родители. Всех и не упомнишь. Часто приходили в гости местная доктор Лидия Александровна Преображенская со своим мужем Сергеем Павловичем, учителем математики в Деде невской школе, которым Сперанские активно помогли в трудные годы. Они очень любили и уважали Елизавету Петровну и Георгия Несторовича.



Е. П. и Г. Н. Сперанские в санатории, Лиелупе, Рижское взморье, 1951

Один из сыновей Преображенских, многократный чемпион СССР по слалому, Володя, был «лыжным» учеником моего отца. Мы дружим с ним до сих пор. Другая медицинская пара, милейшие Софья Георгиевна и Алексей Евгеньевич Звягинцевых, просто обожали деда и бабушку и часто приезжали к нам на несколько дней, как они говорили, «спераниться». Мы все очень любили Звягинцевых, а после смерти бабушки Софья Георгиевна стала для деда незаменимым другом.



На берегу Рижского залива, Лиелупе, 1953

В начале 50-х годов дед и бабушка решили продать большой дачный дом директору Института неврологии академику Н. В. Коновалову, который со своей семьей в 1951 и в 1952 годах проводил в нем летние месяцы в комнатах второго этажа. Незадолго до этого, когда решение о продаже дачи уже было принято, к Елизавете Петровне пришли какие-то люди из местных и предложили купить дом и участок. Увидев теннисный корт, женщина сказала: «Какая хорошая площадка. Здесь можно будет посадить картошку». Бабушка тут же сказала «нет», прекратила разговор и сухо попрощалась с посетителями. Дети Коноваловых Саша и Юра увлекались игрой в теннис, и это сыграло важную роль в выборе покупателя. Кроме того, Сперанские очень дружили с Николаем Васильевичем и его добрейшей супругой Екатериной Степановной. Продажа дома была очень мудрым поступком, так как дед и бабушка не хотели, чтобы после их смерти дом стал яблоком раздора между детьми. А это неизбежно бы случилось, если бы нам пришлось делить этот дом, рассчитанный на одну семью. К тому времени дед оформил на мою мать 20 соток в нижней части участка, где с его помощью мой отец построил небольшой летний домик из трех комнат с верандой.



С фокстерьером Тимкой на дане, весна, 1956

Деньги от продажи большой дачи бабушка разделила между двумя дочерьми и сыном. Я думаю, что это было очень непростое решение для Елизаветы Петровны и Георгия Несторовича: ведь дом был их детищем, и они прожили в нем почти полвека. После продажи дома бабушка практически перестала ездить на дачу, а дед построил себе на участке моей матери маленький сарайчик-мастерскую, куда продолжал приезжать по воскресеньям и в отпуск до последних дней своей долгой жизни и по-прежнему возился в саду, плел корзины и вытачивал на токарном станке ручки для инструментов и различные предметы из дерева. Последний раз бабушку привезли на дачу весной 1957 года. Она медленно прошла под руку с дедом по дорожкам маминного участка и попросила увезти ее в Москву. Ей было очень тяжело смотреть на свой любимый старый дом, в котором прошла вся жизнь.

Елизавета Петровна скончалась в январе 1958 года от очередной двусторонней пневмонии. Последний год своей жизни она практически не вставала с постели и почти полностью ослепла, не могла читать и очень этим тяготилась. После ее смерти дед собрал своих детей и сказал: «Мы с Лизой всегда хотели, чтобы вы жили дружно и во всем поддержи-

вали друг друга». К сожалению, не все последующие поколения Сперанских последовали их желанию.

Мои первые отчетливые воспоминания о бабушке относятся к лету 1943 года, когда мы с мамой переехали из Ярославля в Москву и жили на даче. Бабушка составляла центр этой жизни. Мне она казалась тогда очень старой, хотя на самом деле ей было 66 лет, то есть меньше, чем мне сейчас. Она рано поседела и завивала концы своих волос с помощью горячих железных щипцов, почему некоторые пряди были желтоватого цвета. Я не помню, чтобы она когда-либо подкрашивала свои седые волосы, как это делают многие женщины ее возраста. На улице и в саду, а в последние годы жизни и дома, бабушка надевала на голову светлую косынку, завязывая концы узлом на затылке. Когда у нее стали болеть руки, она часто просила меня завязать узел. Бабушка всегда была сухощавой, с тонкими чертами лица, с живыми темными глазами. Судя по фотографиям, в молодости она была очень красивая. Очевидно, у Филатовых была какая-то примесь греческой крови, потому что и отец Елизаветы Петровны, и его родной брат Нил тоже были похожи на греков. На моей памяти бабушка всегда носила темные крепдешиновые платья (часто в горошек) или длинные юбки и белые кофточки из крепдешина. В старости на плечи всегда была надета шерстяная коричневая кофта, связанная моей матерью. Она не носила никаких украшений, только на груди всегда были маленькие часики, приколотые к брошке с мелкими бриллиантами. Любимой обувью бабушки были белые теннисные туфли, которые мы ей чистили зубным порошком. На пальце – единственное колечко с бирюзой, ее любимым камнем. От бабушки всегда очень приятно пахло смесью дорогих духов и табака. Из духов она предпочитала «Шанель № 5», которые ей иногда привозили знакомые из-за границы, а когда французские духи кончались, покупала «Манон» или «Красную Москву».



Е. П. Сперанская и С. Я. Маршак, середина 1950+х гг.

Сколько я помню, бабушка всегда много курила. Курила папиросы, вначале предпочитала «Казбек», потом перешла на «Беломорканал», иногда курила «Пушку», т. е. довольно крепкие и недорогие, так называемые «мужские» сорта. Помню это хорошо, потому что меня часто посылали на станцию пешком или на велосипеде бабушке за папиросами. Любила

курить вместе с заядлыми курильщиками, например с Кирой Постниковой. В Москве мы жили в одном доме с С. Я. Маршаком, который очень ценил Елизавету Петровну и часто по вечерам приходил к нам в квартиру. Он часами сидел рядом с бабушкой в столовой или в ее спальне (когда у нее болели суставы), и они дымили в две папиросы, прикуривая одну за другой. Дед, однако, никогда не курил. Он рассказывал, что в детстве у него был печальный опыт курения сигары, после которой его нещадно рвало. Это отбило у него охоту к курению на всю жизнь. Он, как правило, уходил к себе в кабинет и работал там, оставляя курильщиков наедине. Часто бабушка курила с Софьей Георгиевной Звягинцевой, которая относилась к ней как к матери. Вообще бабушка была у нас в семье центром притяжения всех соседей и знакомых. К ней часто приходили посоветоваться или поделиться новостями наши соседи художники Кукрыниксы – Порфиша Крылов с женой Еленой Анатольевной, Николай Соколов и Михаил Куприянов. Частой гостьей была Елена Александровна Спендиарова, дочь известного армянского композитора, жена генерала Мясищева, тоже наша соседка. Софья Сергеевна Четверикова, дочь дедушкиного коллеги профессора Четверикова, была лучшей подругой моей матери и практически еще одной бабушкиной дочкой. Я не раз слышал у нас в столовой рассказы Ираклия Андроникова. Бабушка дружила с Генрихом Густавовичем Нейгаузом и его женой Милицей Сергеевной, а Святослав Рихтер одно время жил у нас в квартире и играл на нашем рояле. Чем привлекала их бабушка? Думаю, своей неизменной приветливостью, мудростью и умением слушать. Кроме того, у бабушки был еще один дар, в который свято верили все знакомые, особенно молодые и учащиеся люди. У бабушки была «счастливая» левая рука. Тот, кто пожимал ее левую руку перед экзаменом, был уверен в успешном результате. К ней «за левой рукой» приходили самые разные люди, и она никому не отказывала. Бабушка была очень щедрым человеком и не умела считать деньги. Кроме того, воспитанная в дореволюционные годы, очень любила давать деньги «на чай». При этом она справедливо считала, что обидеть человека можно только в одном случае: дать ему слишком мало. Деньги у бабушки были: дед в ту пору хорошо зарабатывал, и она «давала на чай» парикмахерам, носильщикам, проводникам, таксистам – словом, всем тем, кто оказывал ей какие-либо услуги. Шофер Саша в санатории на Рижском взморье очень уважал бабушку за это. Он всегда с радостью встречал и провожал нас на вокзал на своем автобусе и никогда не отказывал, когда бабушка, например, решала поехать с нами в Ригу в магазин сладостей «Лайма» или поесть пирожных в кафе «Рига». Как-то раз культурработник санатория долго ждал Сашу с экскурсией в Сигулду, но Саша сказал, что сначала он свозит Елизавету Петровну, а потом приедет за отдыхающими. Пришлось «культурнику» идти к бабушке и просить перенести поездку, так как собралось много народу и все ждут автобуса, а Саша отказывается их вести. Бабушка, конечно, извинилась и отменила свою поездку.

В 1948 году дед с бабушкой вместе со всей семьей отпраздновали золотую свадьбу. Их приехали поздравить многочисленные друзья и родственники, переполнившие нашу квартиру на улице Чкалова. Было много поздравлений, подарков и торжественный обед. Во время подготовки к празднованию произошел забавный инцидент. Елизавета Петровна решила заказать по телефону в ресторане Дома ученых мороженое к столу. «Сколько? – спросили у нее. – Хотите мы сделаем вам “бомбу”?» Не представляя себе, что такое «бомба», бабушка согласилась, а цена ее не интересовала. Каково же было общее изумление, когда «бомба» оказалась металлическим цилиндром в человеческий рост и диаметром больше четверти метра. В ней было около 100 кг изумительного сливочного мороженого. Это мороженое ели мы, ели все соседи и знакомые в течение недели. А хранили «бомбу» за окном, привязав ее на веревке, благо что время было зимнее.

Ценили и уважали бабушку не только за щедрость. В ней было то, что выдавало породу «бывших» людей, людей ушедшего времени. Очевидно, большое чувство собственного достоинства, может быть, строгий, властный взгляд, прямая фигура, красивое даже в

старости лицо, нос с горбинкой. Недаром многие старые люди из нашего дачного окружения неизменно обращались к ней: «Барыня». Конечно, играло роль и то, что она была женой академика Сперанского. Когда надо было заказать в Академии наук билеты на поезд или путевку в санаторий «Узкое», Елизавета Петровна сама звонила всесильному управделами академии Чихмахчеву, и он всегда выполнял все ее просьбы, называя по имени-отчеству, хотя жен академиков было довольно много, и думаю, что всех упомянуть было довольно трудно. Иногда доходило до смешного. Железнодорожными билетами в академии занимался человек по фамилии Карасик. Бабушка регулярно называла его по телефону Сусликом, на что он, совершенно не обижаясь, каждый раз отвечал ей: «Елизавета Петровна, я не суслик, я – Карасик». Бабушку это совершенно не смущало. А на Рижском взморье в санатории бабушка ежедневно проводила часы на скамейке в парке недалеко от веранды дома (далеко ходить она уже не могла). И рядом с ней и вокруг всегда было несколько человек, с которыми она оживленно разговаривала. К сожалению, не знаю о чем. Мне было тогда это совершенно все равно: мне важен был велосипед, теннис, море, приятели, кино и т. д. Дорого бы я дал сейчас, чтобы оказаться с ней рядом на той скамейке. Елизавета Петровна была добрейшим человеком. Она всегда принимала участие в чужих бедах, стараясь хоть в чем-либо помочь людям, попавшим в беду. Сколько людей в разные тяжелые годы жили, иногда тайно, у Сперанских! Скольким они помогали деньгами и советами! Как вы уже знаете из дневника, когда у бабушкиного брата В. П. Филатова распалась семья и маленький сын Филатова Сережа остался беспризорным, она тут же помчалась в Одессу наводить порядок в доме. Она пробыла там с братом довольно долго, а потом забрала Сережу к себе в Москву, где он жил со Сперанскими почти целый год, пока у Филатовых не появилась Александра Васильевна, очень хорошо отнесшаяся к Сергею. Подобная история произошла с другим сиротой – Володей Предтече неким, внуком дедушкиного старшего брата Николая. Его родные погибли во время блокады в Ленинграде, а Вову каким-то чудом вывезли из города, и он попал в детский дом в Ярославле. Бабушка сама отправилась в Ярославль и забрала Вову к себе и относилась к нему как к родному внуку. Владимир Предтеченский, в прошлом морской офицер, сейчас уже солидный немолодой человек, очень тепло вспоминает деда, и особенно бабушку. Нас, внуков, Марину и меня, она очень любила и часто заступалась за нас перед дедом или нашими родителями. На дни рождения и на Новый год мы всегда получали от бабушки подарки, и они были самыми лучшими и дорогими для нас. Все дети и внуки обожали Елизавету Петровну и называли ее Мусиком. Животные относились к ней с неменьшей любовью. В самом начале 30-х годов в очень голодное время дед купил на живодерне в г. Дмитрове старую белую лошадь «на мясо». Однако бабушка зарезать ее не дала, и лошадь жила на даче несколько лет. С ее помощью пахали огород под картошку, косили и возили траву и даже сделали для лошади конюшню в сарае. В доме у Сперанских всегда жили собаки: перед войной рыжий бульдог Булька, черный пудель Дик, пестрый спаниель Тим и белый мохнатый Фрам – огромная южнорусская овчарка, которую, к сожалению, были вынуждены застрелить в 1941 году, когда его стало нечем кормить.

После войны появились рыжий испанский терьер Рэд (как Майкл и Джерри у Дж. Лондона) и черный английский спаниель Май. Обе собаки, к сожалению, погибли. После их смерти бабушка сказала, что не хочет новых переживаний и заводить собак больше не будет. Однако в конце 50-х годов знакомые предложили моей матери взять у них месячного щенка фокстерьера. Мама очень боялась, что бабушка не разрешит его оставить. Но когда Елизавета Петровна увидела щенка, она молча ушла в свою комнату и вскоре вернулась с картонной коробкой из-под обуви, в которой лежала мягкая подстилка. «Это будет для него кровать», – сказала она. Щенка назвали Тимом, и он прожил у нас 15 лет, пережив бабушку.

Однако некоторым Елизавета Петровна казалась очень строгой. И действительно, она была далека от всякого рода сантиментов. Саша и Юра Коноваловы (ныне знаменитый ней-

рохирург и известный архитектор) в детстве жили на втором этаже нашего дачного дома. Как-то они признались мне в том, что очень боялись поздно возвращаться домой и подниматься вверх по лестнице, боясь разбудить или потревожить Елизавету Петровну. Она постоянно следила, чтобы дети соблюдали «застольный этикет»: сидели прямо, не клали локти на стол, не тянулись за солью и т. д. А однажды она выгнала из-за стола деда, когда он, протянув ей чашку (она всегда сидела во главе стола и разливала чай из самовара), сказал: «Лиза, наплой в баночку». Такое нарушение этикета бабушка не могла оставить безнаказанным!

В детстве мне ежегодно устраивали день рождения. Накрывали стол, приглашали моих сверстников, и все пили чай с бутербродами и сладостями. Можно себе представить, что происходило иногда за этим столом. Даже присутствие моей мамы не останавливало расшумевшихся ребят. Тогда мама звала бабушку. Она молча входила в столовую, и мгновенно весь шум смолкал, как по команде. Порядок воцарялся от одного бабушкиного присутствия. В отличие от большинства «классических» бабушек, Елизавета Петровна не любила, да и, по правде сказать, не умела готовить. До войны в доме Сперанских едой занималась кухарка, а после – домработница, которая ездила за готовыми обедами в столовую Дома ученых. В трудную минуту бабушка могла быть очень решительной. Рассказывают, что во время известного «дела врачей» дед единственный выступил в защиту профессора Вовси, когда на общем собрании Академии наук того исключали из академиков. Кто-то позвонил бабушке и сказал, чтобы она собирала деду вещи, так как он обязательно будет арестован после этого собрания. Елизавета Петровна тут же набрала номер телефона жены Берии, внуков которого дед постоянно лечил, и рассказала ей о сложившейся ситуации. И дед вернулся домой. Очевидно, он был необходим сильным мира сего, и его не тронули. Работая над этими краткими воспоминаниями, я впервые подумал, какая сложная и тяжелая жизнь выпала на долю моей бабушки. Две страшные мировые войны, две революции, ужасная Гражданская война, экономическая разруха, большевистский и сталинский террор, гибель старшего сына и многих близких ей людей, тяжелая болезнь зятя, нелегкий характер мужа – все это она вынесла на своих плечах, сохранив дружную семью и свою яркую индивидуальность.



Елизавета Петровна Сперанская, 1940

Это хорошо понимала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая подарила бабушке свои замечательные стихи, написав к ним такое посвящение:

«На память дорогой моей героине Елизавете Петровне Сперанской, которая, к счастью, еще жива и здорова и которой не надо приносить слез, но нужно нести цветы любви и благодарности».

После страшной мировой войны
В мире много памятников встало:
В сердце каждой западной страны
Много огоньков затрепетало.
Славный подвиг жертвенный ценя,
Там народ поддерживает свято.
Где – цветы, где яркий взлет огня
В память «неизвестного солдата».
Их миллионы полегли в боях...
Каждый для кого-то был – утрата.
И поныне там живет в сердцах
Память «неизвестного солдата».
Каждая жена, сестра и мать,
Каждая, любившая когда-то,
Там привыкла голову склонять
В память «неизвестного солдата».

Но не тот лишь истинный герой,
Кто пошел на бой, кто пал в сраженье:
Есть на свете героизм иной,
Тоже подвиг – в самоотверженье,
Вот я вижу ряд других теней,
Гибнувших без жалобы, без стоны:
Женщины тревожных наших дней —
Любящие матери и жены.
В дни, когда наш мир пылал огнем,
Рушились все старые оковы —
Женщины в величии своем
Оказались к подвигу готовы.
Предо мной встают – не только те,
Кто отважно шел на баррикады,
Кто, послушен пламенной мечте,
Разрушал все прежние преграды.
Нет: в работе, в вузе, за станком —
Винтик в государственной машине,
Но еще – жена и мать притом —
Участь «неизвестной героини».
Хлеб любимым принести домой
Под огнем немолчной канонады...
Над работой ночь сидеть зимой

При неверном огоньке лампы...
Разжигать угаснувший очаг,
И, согнав с лица следы тревоги,
Лишь заслышит утомленный шаг —
Улыбаясь встретить на пороге.

Сколько их, приняв судьбу свою —
Тяжкий труд и голод и лишения —
Выносили на плечах семью
С ясным взглядом, с словом утешенья.
Этот взгляд – для труженика был
Маяком в бушующей пучине,
Для борца – притоком свежих сил...
Участь «неизвестной героини»!
Сколько их и жизнь свою и кровь
Отдавать по капле были рады
За свою великую любовь,
Не прося, не требуя награды.
Это – блики светлой красоты
В сером мраке жизненной пустыни...
Принесите ж слезы и цветы
В память «неизвестной героини».

Я думаю, что мало встречал в своей жизни женщин, подобных Елизавете Петровне. Ну, пожалуй, что-то общее с бабушкой было у ее племянницы Анны Алексеевны, жены академика Капицы; у Юлии Николаевны Туполевой; может быть, у профессора медицины Веры Евгеньевны Васильевой, подруги моей матери, жены известного лыжника Дмитрия Максимовича Васильева; быть может, у известного хирурга Тамары Темирхановны Дауровой, супруги моего покойного шефа профессора Генриха Ильича Лукомского. Те, кто знал этих замечательных женщин, думаю, согласятся со мной. К сожалению, многие из них ушли в прошлое. Им на смену приходят новые люди совсем другого типа. Ничего с этим не поде-лаешь – диалектика.

Несмотря на то, что я родилась в 1939 году, мировоззрение, психологию и даже лексику XIX века я получила из первых рук от моей бабушки – Марии Павловны Юровой (урожденной Любимовой), которая родилась в 1889 году, воспитывала меня с рождения и прожила с нами до 98 лет.

«Полпред» девятнадцатого века Е. С. Юрова

© Е. С. Юрова, 2008

От нее, кроме фундаментальных жизненных установок, я на всю жизнь усвоила, что сумку надо держать на сгибе руки, а не в руке; сережки с глазками годятся только для «горняшек»; в гостях надо доедать все, что положено на тарелку, а в дубленке становишься похожей на машиниста. От нее же пришли такие давно вышедшие из употребления выражения, как «жуировать жизнью», «бель фамм», «неглиже с отвагой», «жалованье», а не «зарплата» и т. п. Она пережила 11 правителей страны и, помимо врожденного непоколебимого здравого смысла, накопила обширнейший жизненный опыт. Семья моей бабушки жила в городе Вязники. ее родители – Павел Васильевич Любимов и Анна Михайловна (урожденная Формозова) происходили из семей священников. Оба рано осиротели. Анна Михайловна и ее сестра попали на воспитание в разные семьи, жили далеко друг от друга и впоследствии тоже мало виделись друг с другом. Сестра вышла замуж за начальника станции Новки. Долгое время их фотография была единственным неопознанным объектом в нашем семейном альбоме, пока, наконец, я не прислушалась к бабушкиным разъяснениям и не записала, кто они такие.

Анна Михайловна воспитывалась в семье своего дяди Лаврова – священника в селе Пески недалеко от Вязников. У него самого было очень много детей и весьма скромный достаток, но к моей прабабушке, а потом и к ее детям вся семья Лавровых относилась с большой любовью. Я помню, какими теплыми бывали встречи моей бабушки с детьми Лавровых – московским врачом Михаилом Александровичем и украинской учительницей Марьей Александровной. У Павла Васильевича было 12 братьев и одна сестра, которая вышла замуж за миллионера Смирнова и жила в Сибири (кажется, в Красноярске). Один из братьев был членом земской управы в Иванове, другие разъехались по разным городам, а один стал настоящим бродягой, чем и запомнился, надо полагать, больше всех остальных.



Сестра Анны Михайловны с мужем, 1880-е гг.

Время от времени он появлялся в семье Павла Васильевича, его сначала мыли в бане, затем облачали в платье брата и только тогда допускали в дом. Мою прабабушку он очень любил и почитал, а дети были без ума от его рассказов. Прадед устраивал его на работу, но его трудовая жизнь продолжалась только до первого жалованья, которое он немедленно пропивал, менял свое платье на рубище и отправлялся в очередное странствование. Однажды он решил идти пешком к сестре в Сибирь, но по дороге замерз где-то на границе Владимирской губернии.

Анна Михайловна вышла замуж очень молодой: ей было шестнадцать, а Павлу Васильевичу за тридцать. Сначала она смертельно боялась мужа, но постепенно забрала все хозяйство в свои руки и вела его безукоризненно. Это было, наверное, очень нелегко. У них было пятеро детей, дом в Вязниках, прислуга, корова, куры. Все это существовало на одно жалованье члена земской управы, надворного советника Павла Васильевича Любимова. Питались в основном за счет натурального хозяйства. Для того чтобы одеться и одеть детей, Анна Михайловна ездила на Нижегородскую ярмарку, закупала там штуками сукно для гимназической формы мальчикам, ткани на платье девочкам, лен на белье для всей семьи, а потом шила все это сама на швейной машинке «Kaiser», подаренной ей на свадьбу. Прошло больше ста лет, а машинка все еще живет у нас в семье и работает безукоризненно. Не меняя иглоек, на ней можно шить все: от батиста до дубленок.

Все вспоминали о моей прабабушке как о женщине умной и решительной. Вот один маленький эпизод из вязниковской жизни. Мука и крупы в доме Любимовых для защиты от мышей хранились в больших деревянных ларях. Однако одна мышь все-таки ухитрилась пробраться в ларь и, когда кухарка его открыла, от страха прыгнула ей прямо в вырез кофты. Кухарка с дикими воплями выскочила во двор и стала там метаться, продолжая кричать на все Вязники. Никто не мог понять, что с ней случилось. Одна Анна Михайловна каким-то образом сообразила, в чем дело, подбежала к ней, рванула изо всех сил ворот кофты, мышь выскочила, и кухарка успокоилась. Когда у Анны Михайловны досужие приятельницы спрашивали, почему она гораздо больше заботится о невестках, чем о родных дочерях, она объясняла, что дочери ее все равно не разлюбят, а вот невестки, если ими пренебрегать, могут испортить жизнь сыновьям.



Семья Любимовых, 1895 (1896)

На лето Анна Михайловна с детьми перебиралась к дяде в Пески. Дети там наслаждались жизнью: бегали, играли, устраивали всяческие проказы. А потом поджидали дедушку с панихидками (так назывались лакомства, которые приносили в церковь прихожане, заказывающие панихиду). После беготни и игр на свежем воздухе какая-нибудь черная лепешка или черствая французская булка казались им необыкновенно вкусными. Как-то летом сын Лаврова Михаил Александрович заехал в Вязники к Павлу Васильевичу и застал дома одну кухарку, которая долго жалась и мялась и, наконец, объявила ему: «Уж очень барыню мне жалко: ведь барин каждый день под утро домой приходит». Михаилу Александровичу стоило большого труда втолковать ей, что барин играет в карты в клубе, а не посещает какую-нибудь даму сердца. Мой прадед да и прабабушка вообще очень любили поиграть в карты. Когда семья была дома, их партнеры собирались у них, а когда Анна Михайловна с детьми уезжала в Пески, Павел Васильевич ходил в клуб и сидел там допоздна, поскольку торопиться ему было некуда.

Бабушкин старший брат, Виктор Павлович, родился в 1880 году, учился в гимназии в городе Шуя, а затем в Московском университете на юридическом факультете. Учиться в Шую его отправили восьми лет, и весь город удивлялся, как Анна Михайловна могла отпустить такого маленького ребенка. Она очень тосковала без него, но считала, что сыновья обязательно должны получить хорошее образование. Во все время ученья в день его именин из собора приносили чудотворную икону Казанской Божией Матери. После заутрени, когда еще было темно, приходили священники, ставили икону на сдвинутые, покрытые полотенцем стулья и служили молебен о здравии раба Божия Виктора.

Во время учебы в университете Виктор Павлович снимал комнату у каких-то обедневших аристократов. Их дочь Наташа имела обыкновение ходить дома в шелковом платье со шлейфом, подметая им пыль и мусор в давно не метенных комнатах. Виктор Павлович влюбился в нее и подумывал о женитьбе, что Анна Михайловна крайне не одобряла. Однажды в Вязниках она получила от него письмо, начинавшееся словами: «Дорогая мама, я собираюсь жениться...» Сначала она пришла в ужас, но, дочитав письмо до конца, выяснила, что он собирается жениться вовсе не на Наташе, а на бедной учительнице из какой-то глухомани. Она преподавала в приходской школе, а жила в монастыре. Виктор Павлович видел ее всего один раз, но в то время он уже окончил университет и должен был ехать на работу в Сибирь, так что откладывать женитьбу было никак нельзя. Анна Михайловна срочно приехала в Москву, и они вместе поехали в тот городок, где жила учительница. До монастыря они добрались поздно ночью и долго туда стучались, прежде чем им отворили. Сначала их пускать не хотели, но Анна Михайловна решительно заявила, что хочет говорить с матерью-игуменьей. Подняли с постели игуменью, и прабабушка объявила ей, что приехала за невестой сына. Когда, наконец, разбудили учительницу, она сначала никак не могла взять в толк, в чем дело. Потом заявила, что никакого жениха у нее нет, но в конце концов, разобравшись, что к чему, согласилась поехать с женихом и будущей свекровью к своему отцу, священнику. Отец быстро дал согласие на брак, и свадьбу сыграли в три дня. Молодые поехали работать сначала в Канск, а потом в Красноярск. В Канске у них родилась дочка Леночка. Когда Леночка была еще маленькой, мать приехала с ней в Вязники к Анне Михайловне (которую, наверное, с этих пор стали называть «бабатином»). В Вязниках девочка заболела скарлатиной. Бабатик с моей бабушкой, которая тогда была еще девочкой, круглые сутки дежурили у детской кровати, а мать Леночки, накинув одну шаль, в беспомощности бегала по всему городу. В конце концов девочка выздоровела, и они отбыли в Канск, но вернулись с пол дороги, потому что на Леночкину матушку в мягком вагоне свалилась полка и ушибла ей руку. Побыв еще некоторое время в Вязниках, они, наконец, уехали, а в Канске Леночка заболела ангиной и умерла. Бабатик очень любила свою первую внучку и, когда родилась я, попросила назвать меня Леной. Анна Михайловна была очень религиозна, хотя к обрядам относилась довольно скептически. Тем не менее, когда меня должны были принести из роддома, она заявила, что для нее некрещеный ребенок все равно что обезьяна и на руки она его брать не собирается. Судя по тому, что впоследствии она меня нежно нянчила, наверное, крещение все же состоялось втайне от родителей и бабушки, которая придерживалась весьма передовых взглядов и была убежденной атеисткой.



Татьяна Семеновна Любимова, 1898

У Виктора Павловича с его женой детей больше не было. Во время или перед революцией они расстались. Все это время он работал в Красноярске помощником прокурора. После революции, когда в Сибири установилась на некоторое время власть белых, он, кажется, играл какую-то роль в правительстве Сибири. Вместе с белыми бежал в Харбин, где долгое время был директором гимназии, женился на владелице кондитерского магазина, но был выслан обратно в СССР. После войны бабушка получила от него письмо из лагеря, в котором он просил помочь ему. Ему послали какие-то продукты и теплые вещи, но больше никаких известий о нем не было.



Владимир Павлович Любимов, 1916

Приблизительно в 1885 году в Вязниках появилась никому не известная супружеская пара. Вскоре жена родила двух девочек-близнецов и при родах умерла. Отец оказался совершенно неспособным содержать и растить детей, и девочек отдали на воспитание в разные семьи: одну взял местный богач, владелец типографии Матренинский, а другую – лакей самого выдающегося человека в Вязниках, фабриканта Сенькова. У Матренинского и его жены Меланьи Семеновны детей не было, и все их заботы были посвящены воспитанию приемной дочери Тани. Вот эта Таня и стала женой второго сына Анны Михайловны, Владимира Павловича. Знакомы будущие супруги были с детства, вместе играли, встречались во время праздников и каникул. Татьяна Семеновна была необыкновенно хороша собой: стройная фигура, большие черные глаза, темные вьющиеся волосы. На балах-маскарадах она затмевала всех, блистая в туалетах, специально выпущенных для нее Матренинским из Москвы, но учение ей никак не давалось. В то время как Владимир Павлович прекрасно окончил гимназию и поступил в университет, Татьяна Семеновна, несмотря на весь авто-

ритет своего приемного отца, не смогла учиться в гимназии. Она была переведена в епархиальное училище во Владимире, но и его не смогла закончить. Тем не менее они любили друг друга, и родители с обеих сторон не возражали против этого брака. Перед венчанием Татьяне Семеновне рассказали о ее происхождении, она нашла свою сестру и вместе с ней и Владимиром Павловичем посетила могилу матери. После окончания университета Владимир Павлович работал в Москве в министерстве здравоохранения. У них было двое детей: Ольга и Борис. В начале Первой мировой войны Владимира Павловича призвали в армию, и он был адъютантом какого-то полка. Революция застала их полк в Москве. Владимир Павлович был арестован в своей квартире в Спасских казармах. Анна Михайловна и моя бабушка, которая к тому времени уже была замужем, очень волновались. Бабушка осмелилась позвонить в казармы. Там какой-то начальник объяснил ей, что с Владимиром Павловичем все в порядке: солдаты его снова выбрали офицером, и арест с него снят. Вскоре Владимир Павлович демобилизовался и до самой смерти в 1942 году работал юрисконсультантом в каком-то министерстве. Он очень увлекался театром, был знаком со многими театральными деятелями и собрал обширную коллекцию фотографий артистов с их автографами. В том же 1942 году умерла и Анна Михайловна. К тому времени из ее детей в живых и на свободе осталась только моя бабушка. Но она уехала со мной и моей мамой в эвакуацию в Красноуфимск, а бабатик осталась в Вязниках на попечении чужих людей. В тот день, когда она умерла, моей бабушке приснился страшный сон. Ей снилось, что она приехала в Вязники, идет к своей маме и страшно торопится, боится опоздать. Вдруг с расположенного в центре города кладбища выбегает собака, хватая ее за подол и тащит на кладбище. Бабушка вырывается, кричит, но собака ее не пускает. Проснувшись, бабушка твердо сказала моей маме, что, наверное, с Анной Михайловной что-то случилось. Это подтвердило пришедшее только через два месяца письмо. Самым странным было то, что прабабушку похоронили именно на том кладбище, на которое бабушку тянула собака. Так решили хоронившие бабатику люди, поскольку кладбище, на котором хоронили всех Любимовых, было слишком далеко. Много лет спустя мы с мужем съездили в Вязники и узнали, что старое кладбище, на котором была похоронена Анна Михайловна, уничтожили и на его месте разбили городской парк.

Младший сын Любимовых – Сергей Павлович – унаследовал, по-видимому, что-то от авантюрного характера своего дяди-бродяги. Он сидел в лагерях, потом оттуда попадал в крупные начальники Дальстроя, потом опять сидел. Свои последние годы он провел в Москве в обществе жены Ольги Ивановны и сына Сергея.



Надежда Павловна Любимова

Совершенно другим человеком была старшая бабушкина сестра – Надежда Павловна (Тёна, как ее называл мой папа). Родилась она в 1875 году, училась в гимназии во Владимире. Некрасивая, но чрезвычайно умная и целеустремленная, она хотела после окончания гимназии продолжать учиться, но Павел Васильевич придерживался достаточно консервативных взглядов на женское образование, поэтому поступать в высшее учебное заведение ей запретил. Однако надо отдать ему должное: ко времени окончания гимназии моей бабушкой, которая была на 14 лет моложе Тёны, он, не без влияния своей жены, пересмотрел свои взгляды, и бабушка, сдав дополнительные экзамены за мужскую гимназию, поступила на высшие женские медицинские курсы в Петербурге. А Надежда Павловна, окончив гимназию, стала работать учительницей в школе Сергея Ивановича Сенькова, владельца ткацко-прядельной фабрики. Вскоре она стала директрисой школы и проработала в этой должности до своей смерти в 1930 году. Сначала школа была очень маленькой. Помещалась она в покосившемся желтом домике, но по мере расширения деятельности Сенькова росла и школа. Сеньков построил для нее новое белое здание, а для учителей Надежда Павловна отвоевала красный двухэтажный дом. В этом доме у нее было две комнаты, по комнате у каждой учительницы, общая кухня и столовая. Постепенно Сеньков стал наряду с Демидовым самым богатым человеком в Вязниках. Демидов благотворительностью не занимался, а Сеньков по

просьбам Надежды Павловны постоянно кому-нибудь помогал: больным чахоткой, способным, но недостаточным ученикам и т. п. Надежда Павловна была не замужем и все свои силы отдавала школе. По-видимому, такой же подвижницей была и подруга Надежды Павловны – Архангельская, преподававшая в школе для глухонемых, чуть ли не единственной в России. Туда свозили глухонемых из самых отдаленных мест, причем прибывали они в школу в самом диком состоянии (в деревнях их зачастую содержали на цепи).

Другой подругой Тёны была Фрида Крамме из семьи местных немцев. Однажды они вместе совершили большое путешествие по Европе. Тогда это было совсем несложно: надо было сходить в полицейский участок, взять там свидетельство о благонадежности, выправить там же паспорт, купить билеты и ехать куда заблагорассудится. Тёна знала французский, Фрида немецкий, и они, легко преодолевая языковые барьеры, побывали в это лето в Германии, Франции, Италии. Помимо обязательных достопримечательностей Надежда Павловна везде интересовалась постановкой школьного дела. Кажется, именно из этого путешествия Тёна привезла неплохую копию «Сельской мадонны» Феррари, которая до сих пор висит в нашей комнате. Еще несколько сувениров: бронзовую статуэтку Жанны д'Арк, ложечку с изображением Эйфелевой башни и датой «1900» подарил Надежде Павловне управляющий фабрикой Сенькова Иван Михайлович Новожилов, который работал на Всемирной выставке в Париже. Он очень нежно относился к Надежде Павловне, они любили друг друга, но Иван Михайлович был женат, имел детей, и ни ему, ни ей не приходила в голову мысль о возможности разрушить его семью. После революции он был, разумеется, лишен всего своего имущества и выслан на Медвежью гору. В это время умерла его жена, и он написал Надежде Павловне, прося ее навестить двух его девочек в Новогирееве. Она поехала туда зимой, в буран, вернулась совершенно больная с повышенным давлением. В таком состоянии уехала в Вязники, через несколько дней у нее сделалось кровоизлияние в мозг, а еще через несколько дней она умерла. Когда Иван Михайлович вернулся в Москву, ее уже не было в живых. Хоронили Надежду Павловну все Вязники: ее ученики, их родители, их дети запрудили всю центральную улицу, гроб несли на плечах до самого кладбища и останавливались у каждого дома.

Когда в 70-х годах мы с мужем были в Вязниках, удалось отыскать одну из выпускниц этой школы, окончившую ее сразу после революции. Дочь богатого купца, она доживала свои дни в одиночестве и ужасной нищете. Узнав, что я внучатая племянница Надежды Павловны, она предалась воспоминаниям о школе, о музыкальных вечерах, о выпускном бале. Было ясно, что это были единственные светлые мгновения в ее нелегкой жизни. О Надежде Павловне она вспоминала с величайшим уважением и благодарностью. Совсем другой прием встретили мы у местного «краеоведа». Он долго и подозрительно расспрашивал нас, кто мы такие, а потом сурово сообщил, что о существовании Надежды Павловны Любимовой он знает, но ее деятельность в местной прессе не пропагандирует, поскольку она, кажется, неправильно повела себя после революции: вместо того чтобы поддержать большевиков, сочувствовала эсерам. Бабушка была уверена, что она не сочувствовала ни тем, ни другим, а просто пыталась защититься от революционных невзгод своих учеников. Тем не менее на Лубянку ее вызывали, но скоро отпустили, видимо, не найдя в ее действиях никакого состава преступления.

Уровень познаний идейного «краеоведа» был, по-видимому, весьма невысок. В частности, он авторитетно заявил, что в Песках никогда не было никакой церкви. Все наши заверения, что там служил наш родственник и поэтому церковь там точно была, он отверг как не заслуживающие никакого внимания. Для расследования этого противоречия ни мисс Марпл, ни Пуаро не понадобились. Мы просто съездили в Пески, увидели там развалины церкви и отыскали дом, в котором жил священник Лавров с семейством и куда каждое лето приез-

жала к ним Анна Михайловна с детьми. Красный дом, где жила Надежда Павловна, в то время все еще стоял на центральной площади, мы даже попросили разрешения зайти в ее комнаты. Когда-то в них стоял маленький резной шкафчик, на верхней полке которого располагалась привезенная из Парижа Новожиловым статуэтка Жанны д'Арк. Этот шкафчик перешел потом к моей бабушке. В нем хранилось белье четырех поколений нашей семьи. Он по-прежнему называется «Тёнин шкафчик», стоит в нашей квартире и, наверное, ждет, когда в него снова положат комплект детского белья.



Мария Павловна (слева) и Надежда Павловна (справа) Любимовы

Моя бабушка, Мария Павловна, училась в женской гимназии города Шуя. Начитавшись романов Чарской, она мечтала о том, чтобы поступить в институт благородных девиц, и с нетерпением ждала того момента, когда ее отец получит орден Святой Анны, дававший право на дворянство. Орден Павел Васильевич получил, но к тому времени успели отменить даваемое этим орденом право на наследственное дворянство, и дворянином стал только Павел Васильевич. Таким образом, Марусе (так бабушку называли в детстве) пришлось удовлетвориться гимназией. Бабушка всегда отличалась независимым характером: в первый день в школе, соскучившись по дому приблизительно в середине второго урока, она принялась деловито собирать свой портфель. На вопрос учительницы, куда это она собралась, бабушка ответила: «Домой, мне здесь надоело». Тем не менее в дальнейшем бабушка училась прекрасно, причем особенно хорошо ей давалась математика. В одном из последних классов произошел эпизод, который мог бы привести к весьма печальным для нее последствиям. В то время все увлекались передовыми идеями: сострадали народу, осуждали власть имущих и очень сомневались в существовании Бога. Бабушка основательно проштудировала Ренана и на обязательной для всех гимназисток исповеди сообщила священнику, что в Бога не верует. После такого признания священник должен был бы поставить ей двойку по

Закону Божьему, что автоматически привело бы к исключению из гимназии и закрыло бы доступ к высшему образованию. К счастью, священник был в очень дружеских отношениях с Павлом Васильевичем. На исповеди он сделал вид, что не расслышал, а в доверительной беседе с бабушкиным отцом попросил сделать ей надлежащее внушение и сказать, чтобы впредь она ничего подобного вслух не произносила. Таким образом, бабушка благополучно окончила гимназию. Сразу после ее окончания, когда бабушке было 16 или 17 лет, она заболела брюшным тифом. В жаркий день они с веселой компанией катались на лодке по реке, очень хотелось пить, бабушка зачерпнула пригоршню воды из реки и выпила. Болезнь протекала очень тяжело, врачи уже теряли всякую надежду, когда она увидела в полузабытьи образ Казанской Божией Матери, которая сказала ей, что скоро будет кризис и она выздоровеет. Бабушка рассказала об этом своей маме Анне Михайловне. Из церкви был принесен этот образ, отслужен молебен, и бабушка действительно через день пошла на поправку. Несмотря на этот случай, в Бога она так и не уверовала, хотя образ жизни вела поистине подвижнический.



Во время болезни бабушку, как тогда полагалось, остригли, и она со своей мальчишеской прической приобрела настолько современный вид, что моя внучка путает бабушкины фотографии и мои, сделанные приблизительно в том же возрасте. Для того чтобы получить высшее образование, надо было сдать экзамены за мужскую гимназию. Маруся Любимова мужественно выучила за год латынь, греческий и дополнительный материал по математике, сдала все дополнительные экзамены в Егорьевске и поступила на высшие женские медицинские курсы в Петербурге. Обучаясь на курсах, бабушка чуть не уморила себя голодом, решив, что она слишком полная и надо срочно похудеть. Обладая незаурядной силой воли, она соблюдала строжайшую диету и отказалась от всех видов транспорта, хотя очень любила кататься на извозчиках «с дутыми шинами». Когда в совершенно отощавшем виде она появилась в Вязниках, бабятник решила, что у нее последняя стадия чахотки и отправила ее на

юг под присмотром старшей сестры Нади. На юге, выйдя на пляж и увидев в первый раз людей в купальниках, Маруся пришла в ужас и сказала, что такого неприличия ни за что не допустит. Надежда Павловна ее уговаривала три дня. В конце концов бабушка согласилась и выглядела в купальнике, наверное, очень неплохо, потому что фигура у нее всегда (вплоть до глубокой старости) была отличная. На всю жизнь сохранила бабушка и правила обращения, которые сейчас стали весьма расплывчатыми. После окончания гимназии ко всем полагалось обращаться на «вы» и по имени отчеству.



Сережа с няней, 1918

Поэтому к своей ближайшей подруге, с которой она познакомилась еще на медицинских курсах, бабушка в течение 70 лет адресовалась не иначе как «вы, Людмила Павловна». Это правило не распространялось только на очень юных особ (например, моих подруг), к которым бабушка обращалась на «вы», но по имени. Обращение на «ты» допускалось только по отношению к детям и самым близким родственникам.

С детства мне было также внушено, что, здороваясь, надо обязательно называть человека по имени: «Здравствуйте, Марья Ивановна!» Когда я начала работать, от этой привычки пришлось довольно долго отучаться, поскольку на свое полное приветствие встречала лишь недоуменные взгляды и небрежное «Здрате!».



Мария Павловна с мужем Гавриилом Федоровичем Юровым, 1912 (1913)

Медицинские курсы бабушка так и не окончила, потому что, с одной стороны, падала в обморок при виде крови, а с другой стороны, вышла замуж за деда – Гавриила Федоровича Юрова. Дед только что окончил курс в институте и получил звание инженера-путейца. Был он красавцем почти двухметрового роста с голубыми глазами, светлыми волосами и роскошными усами. Происходил из казаков станицы Ахтубинская, которые все отличались исключительно высоким ростом и служили, как правило, в гренадерских полках. А фамилия Юровых была образована не от имени Юрий, как многие ошибочно полагают, а от слова «юр» – высокое место. Должно быть, дом Юровых когда-то стоял на юру. Сначала молодые отправились на строительство Амурской железной дороги. Поскольку бабушка была в молодости большая модница, она договорилась со своей петербургской портнихой, что будет выписывать себе туалеты по почте. Бабушка сообщала портнихе, что ее размеры за последнее время не изменились, и портниха высылала ей то летнее платье, то осенний костюм, то вечерний туалет, сшитый по последней моде. В 1914 или 1915 году Юровы переехали в Москву. Управление железной дороги, на которой должен был служить дед, предоставило им хорошую пятикомнатную квартиру в Лихоборах. Бабушка, которая в то время уже ждала ребенка, поселилась на первое время в номерах. Туда к ней приходил приказчик с образцами обоев и тканей для обивки мебели. Бабушка давала руководящие указания, и ремонт в скором времени был завершен. Мой папа родился в 1915 году. К нему взяли няню Ксюшу из Вязников, и жизнь потекла тихо и мирно, несмотря на то что уже шла Первая мировая война. Бабушка говорила, что на их жизни она никак особенно не отразилась, да и все их окружение от войны практически не пострадало.

Крутой поворот наступил после революции. Деда направили руководить ремонтом железнодорожных путей, которые взрывали белые при своем отступлении на восток. Жить стало чрезвычайно трудно, наступили большие проблемы с продуктами. Особенно удручало бабушку отсутствие ее культового напитка кофе, который она полюбила восьми лет от роду и пила, несмотря на гипертонию и плохое сердце, в течение 90 лет. Каким-то образом, кажется в Екатеринбурге, ей все же удалось раздобыть порядочный мешочек кофе и мешок муки. Все это она спрятала в нишу за высоким зеркалом в передней квартиры, которую они тогда занимали. До глубокой старости она с ужасом вспоминала солдат, которые неожиданно нагрянули с обыском. К счастью, заглянуть за зеркало они не догадались. Бабушкины запасы и их

жизнь были спасены. Еще одним источником сожалений являлось бархатное манто, купленное как раз перед революцией. Решив купить себе шубку, бабушка выбирала между практичным каракулем и «остромодным» в то время бархатным манто. Куплено было последнее, которое через короткое время оказалось совершенно ненужной и даже предосудительной с классовой точки зрения вещью. В то время как каракулевая шуба вполне могла бы быть обменена на что-нибудь жизненно важное, типа мешка или даже двух мешков картошки. Вернувшись в Москву, дед получил ордер на осмотр жилплощади. Бабушка, съездив в их бывшую квартиру в Лихоборах, пришла в ужас от перспективы остаться на зиму без дров в промерзшей квартире. После этого она поехала в коммунальную квартиру на Покровке. Там было тепло, на кухне приветливо гудели керосинки и примусы. Было решено вселяться в предоставленные деду две комнаты в этой квартире, в которой бабушка с семейством, а потом и присоединившаяся к ним мама прожили больше 40 лет.



С сыном и мужем, Крым, 1920-е гг.

Как-то в разговоре с нашим молодым знакомым случайно были упомянуты коммунальные квартиры. Он призадумался и сказал: «Да, я как-то был в одной коммунальной квартире». В наше время такая фраза была бы совершенно невозможна, потому что в коммуналках жили все и, напротив, отдельные квартиры были редчайшим исключением. А сейчас я поняла, что настало время рассказать об этих экзотических жилищах, пока они и их обитатели не стали безвозвратно утерянной натурой.

Наш дом стоял во дворе на углу улицы Чернышевского (Покровки) и Покровского бульвара (ул. Чернышевского, д. 10, кв. 38, тел. К7-87-19). Наискосок, на втором этаже двухэтажного дома находился кинотеатр «Аврора», а напротив – сначала трамвайное кольцо, а потом стоянка такси. Именно в этом месте в марте 1953 года кончалась очередь желающих проститься со Сталиным. Мы с мамой шли домой, и она, правда, без особого энтузиазма, предложила тоже встать в эту очередь. Стоять в длинной очереди мне не хотелось, я решительно воспротивилась и, таким образом, возможно, спасла жизнь нам обоим, потому что в давке на Трубной площади погибло в этот день множество народа. До революции наш дом и все дворовые постройки принадлежали купцу Калашникову, который обеспечивал предметами культа (ризами, окладами, паникадилами, колоколами и т. п.) почти всю Россию. Квартиры в доме отдавались внаем, а во дворе долгое время стоял маленький домик без окон с

толстыми стенами. По рассказам, в нем испытывали звучание колоколов. В наше время там была сначала керосиновая лавка, а потом какой-то склад. Наш дом был выстроен с купеческой основательностью: стены были толщиной около метра, и летом в детстве я спокойно загорала на подоконниках. На наш второй этаж вела ажурная чугунная лестница. Высота потолков была около четырех метров. Комнаты отапливались высокими белыми кафельными печами. Зеркало печи и вьюшки выходили в комнату, а дверцы для загрузки дров в коридор, чтобы кухонный мужик мог выполнять свои обязанности, не мешая хозяевам. Все печные дверцы были литые чугунные с разнообразными античными сюжетами, которые я любила рассматривать. Еще одним интересным занятием было пристальное вглядывание в паркет, выложенный большими кубиками, которые при долгом разглядывании переворачивались. Весной появлялся еще один источник развлечений. Дело в том, что окно моей комнаты, в отличие от остальных окон, было до половины закрыто стеной соседнего дома. Между окном и краем крыши этого дома была щель шириной 10–15 см и глубиной, равной половине высоты окна, потому что снизу она ограничивалась подоконником. Как только мартовские коты заводили свою военную песню где-то наверху, на коньке крыши, я сразу отправлялась в свою комнату, чтобы быть на месте ко времени развязки. Немного попев, коты вцеплялись друг в друга и, потеряв всякую осторожность, с грохотом катились по скату железной крыши. А на краю их ожидала моя коварная щель, в которую они проваливались с душераздирающим воплем, пролетали до подоконника, ударялись об него и с диким видом, позабыв о своих распрях, выскакивали обратно на крышу и разбегались в разные стороны.

Были у нас и свои коты: три поколения Микешек. Но после того, как украли последнего и самого лучшего их них – черного Мику с белым галстучком, больше котов мы не заводили. Зато бесхозные кошки время от времени накапливались на коммунальной кухне в немыслимых количествах. Однажды, потеряв всякое терпение, бабушка с домработницей Машей задумали враждебную акцию. Выждав, когда на кухне никого не было, они распахали всех кошек по двум хозяйственным сумкам, довели их на трамвае до конца маршрута, вытряхнули из сумок в чей-то подъезд и быстро закрыли дверь (наверное, для того, чтобы кошки не могли проследить, на каком трамвае их привезли). Дома они еще долго лицемерно осведомлялись, куда это подевались всеобщие любимицы. Стержнем нашей коммунальной квартиры был длиннейший коридор, по которому дети катались на велосипеде. В коридор выходили все многочисленные комнаты, в которых обитало восемь семей. Больших скандалов среди этой разношерстной публики не было, но и идиллической дружбы с взаимопомощью и совместными праздниками, как это нередко описывается в литературе и изображается в кино, тоже не наблюдалось. Не дружили даже дети, каким-то образом чувствуя всю противоестественность подобного объединения. Кроме меня, детей было четверо: две девочки Галущенко и близнецы Ермолаевы-Фрисман. У близнецов, как это ни странно, были разные фамилии, и вот как это получилось. Когда началась война, мама близнецов, Галина Павловна, как раз была в положении. Отца призвали в армию, и они договорились, что, если родится девочка, она получит фамилию отца Фрисман, а если мальчик – фамилию матери Ермолаев. Отец погиб на фронте, а родились близнецы: мальчик и девочка. Так они и стали Боря Ермолаев и Леночка Фрисман. Их мама Галина Павловна была косметичкой, и дамское население квартиры широко пользовалось ее услугами. Даже после того, как мы переехали в отдельную квартиру, мы довольно долго ездили к ней в какую-то парикмахерскую на Ленинградском проспекте «наводить красоту».

Иногда у нас появлялись «временные» дети. Это происходило, когда дочь Елизаветы Кирилловны, министерский работник Галя, приводила какого-нибудь очередного мужа с ребенком. Но долго эти мужья и дети не задерживались. Мой папа и Галя были приблизительно одного возраста, оба выросли в этой квартире, и на этой почве между их матушками – моей бабушкой и Елизаветой Кирилловной – установились несколько более дружеские

отношения, чем между остальными соседями. Когда-то у Елизаветы Кирилловны были даже некие матримониальные проекты относительно папы и Гали. Несмотря на то, что проекты не осуществились, две приятельницы продолжали ходить друг к другу пить чай, причем Елизавета Кирилловна попивала чаек из нашего самовара. Когда мы уехали в эвакуацию, он остался вместе с другим имуществом в наших комнатах. Одни из наших соседей решили воспользоваться моментом, собрали приглянувшиеся им вещи по всем оставленным уехавшими жильцами комнатам и стали их пропивать в ожидании прихода немцев. Несмотря на военное время, а может быть, именно благодаря этому, их деятельность очень быстро прекратили, все семейство то ли посадили, то ли выслали, а вещи отобрали. Наш самовар они, по-видимому, успели продать Елизавете Кирилловне, и так он у нее и остался. За очередным чаепитием Елизавета Кирилловна доверительно говаривала бабушке: «Я, Мария Павловна, конечно, знаю, что это ваш самовар, но так к нему привыкла, что просто никак расстаться не могу».

В самом конце коридора жила скромнейшая и тишайшая Шура, работавшая швеей на какой-то фабрике. После того, как папа в первый раз съездил в командировку за границу, вся квартира, естественно, пришла в большое волнение, а Шура, напротив, погрузилась в глубокою задумчивость. Через некоторое время она все-таки сформулировала вопрос: «Сергей Гаврилович, вот вы во Франции были. А что, правду говорят, что там никто нашего языка не знает и все только по-французски разговаривают?» Напротив наших комнат жила малюсенькая старушка Ревекка с внуком Зюкой. Ее дочь Раю посадили по неизвестной причине еще до войны, и Ревекка из сил выбивалась, холя и лелея ненаглядного Зюку. У Ревекки мы снимали угол для наших последовательных домработниц: Дуси, Маши и Александры Васильевны. Бабушка Ревекку жалела, но не одобряла за бестолковость и безудержное баловство внука. Время от времени к Ревекке приходила ее родственница Соня, она выходила на общественную кухню и развлекала всех чтением анекдотов из своей записной книжки. Эта записная книжка была ее основным орудием труда, поскольку она зарабатывала тем, что ходила по квартирам и уговаривала жильцов отдать увеличить свои фотографии. Для этого она разработала специальную стратегию, включавшую в себя анекдоты как обязательный элемент. Думаю, что ее метод был очень близок к тому, что рекомендует Карнеги, а кое-что она могла бы, наверное, к его наставлениям и добавить, поскольку для того, чтобы в послевоенное время заставить людей раскошелиться на увеличение фотографий, надо было быть настоящим виртуозом. После смерти Сталина вернулась Рая. Выглядела она старше своей матери, непрерывно курила и виртуозно ругалась. Появление матери не повлияло на Зюку сколько-нибудь благотворным образом. В ранней юности он подавал какие-то поэтические надежды, но спился и исчез из нашего поля зрения. В ближайших к входной двери комнатах жила чета Вулкановых: Катя и алкоголик Сергей. Катя была намного старше Сергея и проводила жизнь в тщетных попытках отучить его от пьянства. В какой-то момент она решила, что ему может помочь какое-нибудь коллекционирование. Они стали собирать спичечные этикетки, но это средство оказалось слишком слабым. Катя была не лишена некоторой доли кокетства. Понаблюдав за тем, как одевается моя мама, она объявила на коммунальной кухне, что ничего хитрого тут нет и она может выглядеть ничем не хуже. Для этой цели она купила голубые носочки с зеленой каемочкой и белый нитяной вязаный берет. Надев все это, она ощутила себя на вершине элегантности и больше беспокоиться о своей внешности не стала. Уже после нашего отъезда Сергей Вулканов повесился в дровяном сарае, а Катя умерла от ожогов, сунув голову во вспыхнувшую духовку.

В 1960 году папе, наконец, дали трехкомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке. Мама ликовала. В день переезда она первая покинула нашу коммуналку, сказав, что ее ноги больше там не будут. Она, действительно, больше ни разу не зашла в нашу бывшую квартиру. Мы постепенно перетаскивали все наше барахло, а мама вошла в новую квартиру, бросила

в угол шубу, села на нее и руководила нашими действиями из этого командного пункта. По моему, после 43-летнего кошмара коммунальной квартиры это более чем скромное жилище доставило ей гораздо больше радости, чем вполне достойная квартира на Фрунзенской набережной, куда мы переехали через 10 лет. При переезде мама стремилась взять с собой в новую жизнь как можно меньше вещей из старой квартиры. Мы с папой ее понимали и не очень сопротивлялись, когда в сарае были оставлены сборники «Живописной России», тома Брэма и атласы по античной истории. Единственной позицией, по которой мы проявили полное единодушие и принципиальность, был «Брокгауз и Ефрон». До сих пор эти тома являются незаменимым источником информации, и уже наша внучка знает, что те сведения, которые не удалось найти в других словарях и Интернете, вероятнее всего, можно обнаружить в «Брокгаузе и Ефроне».

Кроме перипетий Гражданской войны и кошмара существования в коммуналке были в бабушкиной жизни и другие невзгоды. Еще до войны внезапно тяжело заболел мой дед. Его мучили страшные боли, он не мог подняться с постели, и бабушка, как бывшая медичка, решила, что ему надо ехать на грязи. Она добилась приема чуть ли не у министра здравоохранения и, в лучших традициях высокой трагедии, рыдая и заламывая руки, умоляла спасти ее мужа и дать ему путевку в санаторий. Получив путевку и отправив деда, бабушка единственный раз в жизни пошла работать в какую-то канцелярию, которая не оставила у нее никаких светлых воспоминаний. Дед выздоровел, и с канцелярией было покончено. Бабушка целиком посвятила себя сыну и мужу. Здесь ее тоже ждало много огорчений. Моего папу, как происходящего из классово чуждой семьи, не приняли в институт, и он вынужден был сначала окончить ФЗУ, а потом отработать какое-то время на заводе. Только после этого он, теперь уже настоящий пролетарий, смог поступить в МЭИ. Параллельно папа очень серьезно увлекся альпинизмом и в результате, кажется, перед самым моим рождением, упал в какую-то трещину и сломал себе ногу. Два дня его спускали с горы, потом сделали неудачную операцию в Нальчике и в конце концов привезли в Москву в Институт Склифосовского. Там ему для начала предложили ногу ампутировать, но потом нашлась благородная женщина-врач, которая ногу все-таки спасла. В результате папа остался на всю жизнь хромым, но, может быть, именно это спасло ему жизнь во время войны. Призыву он, правда, в любом случае не подлежал, так как работал во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) по оборонной тематике: разрабатывал прожекторы. После войны он защитил докторскую диссертацию, был одним из организаторов Всесоюзного светотехнического института и долго работал там заместителем директора по научной части. Вместе с ВЭИ папа был эвакуирован в Свердловск, а нас с бабушкой и мамой оставил недалеко от Свердловска – в Красноуфимске, где было намного легче с жильем. Нас поселили в избу к некоей Степаниде, которая жила вдвоем с сыном-машинистом. Сначала они нам не очень обрадовались. Московские дармоеды, которые свалились им как снег на голову, сильно раздражали, и Степанида всячески старалась нас притеснить. Например: двор у них был вымощен досками, которые она время от времени мыла, после чего начинала ругать маму и бабушку за то, что они по нему ходят. Бедной бабушке доставалось и от баб возле колодца, когда она, не удержав тяжеленную обледенелую бадью, случайно выплескивала воду на их валенки. Поэтому каждый поход за водой оканчивался горькими слезами. Натерпелась она страху и в Вязниках, куда мы заехали по дороге в Красноуфимск. Там ей дали ружье и приставили охранять ночью колодец от диверсантов. Поскольку надежды на то, что она справится с диверсантом, не было никакой, факт его появления, по-видимому, надеялись обнаружить, найдя ее труп. К счастью, диверсант вязниковским колодцем не заинтересовался. А в эвакуации дела через несколько месяцев относительно наладились, потому что туда был эвакуирован Харьковский механикомашиностроительный институт, где отсутствовала заведующая кафедрой иностранных языков.

Маму, которая до войны работала преподавательницей немецкого языка в МЭИ, сразу взяли на ее место, мы получили карточки и сразу стали уважаемыми людьми. Наше реноме поднялось еще выше, когда маме на работе выдали живого поросенка. Элегантной даме, которой мама оставалась, надо полагать, даже в эвакуации, нести по улице мешок с визжащим и брыкающимся поросенком было никак невозможно. К счастью, нашелся очередной поклонник, который осуществил эту операцию. Степанида встретила поросенка, естественно, с распростертыми объятиями, чего нельзя сказать о бабушке. Она его смертельно боялась и, когда кормила, плескала ему пойло через щель в закутке и быстро убегала. От щели поросенок и погиб, каким-то образом в ней защемившись. Пришлось бедного Прошку прирезать, но ели его только Степанида и мы с машинистом, потому что ни мама, ни бабушка родного поросенка съесть, несмотря на голодуху, конечно, не смогли.

Несладко приходилось нашей бабушке и после войны: очереди, дефицит, коммуналка – в общем, сплошная борьба за существование. Преодолеть все трудности ей помогали незыблемые жизненные правила. С утра она составляла план своих действий на день, стремясь по возможности «запараллелить» наиболее простые домашние работы. Никаких отклонений от плана не допускалось. К числу основных смертных грехов причислялись халат как форма домашней одежды, оставленная невымытой посуда, не застеленные с утра постели. К приходу всех членов семьи все было готово, а бабушка сидела в кресле и читала роман. Регулярно видя эту картину еще до войны, ее брат Владимир Павлович пришел к выводу, что Маруся себя домашним хозяйством не обременяет в отличие от его Тани, которая все время чем-то занята на кухне.



С внучкой Леночкой, 1945

Все, кто бывал у нас в доме, отмечали необыкновенное бабушкино гостеприимство. Отпустить даже случайного посетителя, не напоив его хотя бы кофе с булочкой, считалось совершенно недопустимым. А к большим приемам пеклись пироги, делалось заливное, ореховый торт с кофейным кремом и пр., и пр. Все наши друзья до сих пор вспоминают ее пирога с капустой и особенно «внучатник». «Внучатник» – это пирог, состоящий из отдельных кусочков теста, обваленных в масле и сахаре. После смерти бабушки я долго сокрушалась, что не записала этот рецепт. Только через несколько лет случайно выяснилось, что его в свое время записала моя подруга и, таким образом, он сохранился для грядущих поколений. Хорошо кушающие гости доставляли бабушке искреннее удовольствие. Однажды ко мне зашла голодная студенческая компания, и один из молодых людей съел половину бабушкиного пирога с капустой (который выпекался по размеру духовки). Этим он произвел на нее неизгладимое впечатление, и бабушка еще несколько лет осведомлялась о том, как он поживает. Обладая необыкновенно ясным умом и здравым смыслом, бабушка прожила 40 лет в семье сына, ни разу не поссорившись с невесткой. Тут надо отдать должное и моей маме, которая никогда не вмешивалась в «кухонные» вопросы. Идея о том, чтобы стать хозяйкой в этой области, даже никогда не приходила ей в голову. Мама всегда говорила, что согласна есть каждый день только вареную картошку, лишь бы не заниматься ее пригото-

нием. В результате наше меню этим отнюдь не ограничивалось, потому что бабушка отлично готовила. Никаких разногласий между бабушкой и мамой не было и в вопросах моего воспитания: мама всегда проводила мысль о том, что бабушка является в этом деле главной. Когда я приходила из школы и устремлялась к маме, чтобы сообщить ей последние новости, мама неизменно говорила: «Пойди, сначала расскажи бабе». Была у меня и другая бабушка – мамина мама, баба Маня, которую я тоже очень любила. Поэтому однажды в раннем детстве я решила выяснить у мамы вопрос о том, которая же из них все-таки «главнее». На это мама самоотверженно ответила, что, конечно, меня обе очень любят, но «баба» (Мария Павловна), безусловно, является основной. Каждое лето мы всем семейством, включавшим зачастую моих, бабушкиных или маминых подруг, выезжали на лоно природы, а родители уезжали куда-нибудь путешествовать, заезжая к нам лишь на короткое время. Таким образом, мы побывали на Рижском взморье, в Верее, в Тарусе, в Ясной Поляне, в Архипо-Осиповской на Черном море.хлопот вся эта компания доставляла бабушке, надо полагать, немало: то я вдруг заболела воспалением легких, то какая-нибудь из подопечных пыталась сбиться с пути истинного. Прибавим к этому полунатуральное хозяйство, которое приходилось вести в то время за городом. Так, в Верее один раз домработницей Машей была куплена за неимением куриной тушки живая курица. Сразу ее не съели, а начали о ней, естественно, заботиться. Хохлатка в благодарность снесла яйцо и за такие заслуги была окончательно помилована. В конце лета со всей остротой встал вопрос о том, что же с ней делать. К тому времени на наших кормах курица превратилась в роскошную вальяжную птицу, регулярно через день несшую яйца. Мы предложили нашему хозяину обменять ее на любую из его чудосочных жилистых пеструшек. Он промучился два дня, пытаясь отгадать, в чем заключается подвох и каким способом мы его пытаемся обмануть. Ничего не придумав, он все-таки от обмена отказался и курицу пришлось зарезать. Ели ее Маша и бабушкина подруга, но «без всякого удовольствия».

Иногда мама и бабушка все же доставляли друг другу несколько неприятных минут, но у обеих хватало выдержки и чувства юмора, чтобы не придавать этим моментам большого значения. Мама, появившись в нашем доме, задумала в первое же лето навести порядок. Когда бабушка уехала со мной на дачу, она решила покончить со всеми признаками «мещанства»: решительно срубила пальму и подмела ею пол, выбросила мраморный чернильный прибор и продала буфет красного дерева. Приехав с дачи и обнаружив следы маминой разрушительной деятельности, бабушка только покачала головой и горестно сообщила, что под доской буфета у нее было спрятано шесть или семь золотых. Причем больше всего ее озаботило то, что новые владельцы буфета не знают об этом и не смогут их отыскать. Случались нетактичные высказывания и со стороны бабушки. Так, один раз мама, красуясь в очередном модном костюме, имела неосторожность спросить у бабушки, как та его находит. Бабушка неделикатно ответила, что костюм сам по себе очень хороший, но в сочетании с мамой как-то не смотрится. Это высказывание долгие годы служило у нас дежурной фразой для оценки какого-нибудь не очень удачного туалета. Мою манеру одеваться бабушка в глубине души тоже не одобряла. Как-то раз, когда я собиралась на работу, она торжественно провозгласила: «Лена, если я тебе этого не скажу, тебе никто этого не скажет!» Я приготовилась услышать что-то ужасное, а бабушка продолжила: «Посмотри, как ты одеваешься: каждый день юбка и кофта, кофта и юбка. У настоящей дамы должно быть хотя бы одно струящееся платье». Струящегося платья я себе не обрела, поэтому так и не знаю, имею ли я право причислить себя к настоящим дамам.



С сыном С. Г. Юровым, 1960-е гг.

Когда мы еще жили на Покровке, бабушка как-то раз сидела в комнате за швейной машинкой. На пороге появилась домработница Маша и объявила, что там «какая-то спрашивает Веру Матвеевну». Не поворачивая головы, бабушка поинтересовалась: «Кто, женщина или дама?» Маша не растерялась, она мгновенно оценила всю глубину вопроса и ответила: «Женщина, хотя и с портфелем». С тех пор этот эпизод стал семейной легендой и цитировался неоднократно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.